

Сладкая женщина

Автор:

Ирина Велембовская

Сладкая женщина

Ирина Александровна Велембовская

Русская проза (Вече)

В книгу классика женской психологической прозы Ирины Александровны Велембовской (1922–1990) вошли роман «Сладкая женщина» и четыре повести, которые можно объединить единой рубрикой «Дела семейные». У героини романа Анны Доброхотовой, кажется, есть все – квартира, работа, материальное благополучие, но самого главного – семейного счастья – так и не случилось. Рядом с ней не осталось ни одного близкого человека – всех тошнило от этой «сладкой женщины», как от килограмма конфет, съеденных за один присест... Роман «Сладкая женщина» и повесть «Женщины» легли в основу одноименных художественных фильмов.

Ирина Велембовская

Сладкая женщина (сборник)

© Велембовская И. А., наследники, 2019

© ООО «Издательство «Вече», 2019

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019

Сайт издательства www.veche.ru

Сладкая женщина

Роман

Восьмого марта тысяча девятьсот семьдесят первого года, как раз в женский праздник, в одном из старых, агонизирующих перед сносом домов в Черкизове около девяти часов вечера раздался на лестнице звук падения. Один из жильцов услышал, открыл дверь и увидел, что на площадке лежит без признаков сознания женщина, очень прилично одетая и еще довольно молодая. В соседнем подъезде громко пели и веселились по случаю праздника, и жилец-пенсионер подумал, что женщина эта забрела сюда, что называется, с пьяных глаз. Он уже хотел захлопнуть свою дверь, но потом подошел, поглядел и понял, что дело не так.

Минут через пятнадцать приехала скорая, и пострадавшую отвезли к Склифосовскому. При ней нашли пропуск, удостоверяющий, что она является работницей карамельного цеха одной из московских кондитерских фабрик, Доброхотовой Анной Александровной.

Утром следующего дня было сообщено на фабрику о происшествии с Доброхотовой. Там уже знали, что она не вышла на смену, но ничего не подозревали о причинах. Тем более что все видели ее седьмого марта на вечере, посвященном Международному женскому дню. Она даже сидела в президиуме. И очень удивились, почему это она вдруг оказалась в Черкизове, когда живет в районе Бутырок.

Состояние Доброхотовой было определено врачами как состояние «тяжелое реактивное». В больнице она вскоре пришла в себя и не переставала плакать. Но по всему было видно, что плачет она не от боли, а словно бы от жестокой обиды. Из-под опущенных век выбегали крупные слезы, стекали по щекам, а оттуда – на желтую бязь наволочки. О чем же она все время плачет, Доброхотова ни одним словом не желала объяснить и очень болезненно реагировала на расспросы.

Молоденький студент-практикант, дежуривший возле Доброхотовой и присутствовавший при ее обследовании, обратил внимание, как приятно и сладко от нее пахло, чем-то ванильным, шоколадным. Он также обратил

внимание и на то, что сильно развитая мускулатура рук, плеч да и всего тела этой еще далеко не пожилой женщины не соответствует совершенно безвольному, бессильному ее состоянию.

И все-таки, несмотря ни на что, это была красивая, крупная и, казалось бы, вся для счастья созданная женщина. Хороши были у нее светлые спутанные волосы, хороши голубые глаза, полные слез. На минутку она как будто бы успокоилась и задремала, но тут же сильно вздрогнула и открыла глаза. Молоденький и еще робкий в обращении с больными студент взял ее руку. Их глаза встретились. Что-то во взгляде этой больной смутило его и заставило отвернуться.

Дальнейшее обследование показало, что Доброхотова А. А., 1930 года рождения, ранее сердечными заболеваниями не страдала и никаких психопатических отклонений, которые могли бы повлечь за собой состояние, приведшее к падению с лестницы, не имела. Врачи заподозрили, не было ли совершено какое-нибудь хулиганское действие по отношению к пострадавшей, и об этом было тут же сообщено в милицию.

С кондитерской фабрики, где работала Доброхотова, приходили подежурить возле нее товарки-карамельщицы. Приносили передачи, к которым Анна Александровна почти не притронулась. Она уже не плакала. Забинтованная и утянутая в гипсовый корсет, она лежала тихо и неподвижно, словно придавленная большой тяжестью. Появившийся по делу Доброхотовой лейтенант милиции решил к ней с расспросами не подступаться, а направился в Черкизово. Он вошел в тот подъезд, где восьмого марта Доброхотову нашли без чувств, и стал обходить квартиры, чтобы дознаться, к кому или от кого она в тот вечер шла.

Дом был старый, деревянный, по две коммунальные квартиры на этаже. Часть жильцов из него уже выехала, получив ордера на новую жилплощадь. Те, кто еще в этом доме жил, никакой Доброхотовой не знали. Значит, лейтенанту милиции нужно было опросить и тех, кто уже выехал. Времени это заняло много, потому что расселяли черкизовских жильцов по самым разным местам: и в Бескудники, и в Матвеевскую, и в Теплый Стан.

Посетил лейтенант и дом, где была квартира Доброхотовой, на Бутырках. Жильцы сказали, что несколько раз в эту зиму видели мужчину средних лет, звонившего в квартиру к Анне Александровне. А ее ближайшая соседка по лестничной клетке слышала даже однажды, как Аня спросила из-за двери:

«Тихон, ты?»

Лейтенант проверил: в деревянном доме в Черкизове никакой Тихон прописан не был.

А сама Доброхотова уже чувствовала себя получше, съела что-то из принесенной ей сотрудницами передачи. Попросила зеркальце и сделала попытку привести в порядок свои богатые светлые волосы со следами рыжины на концах: когда-то она красилась.

Во время очередного посетительного часа одна из товарок спросила ее:

– Аня, а что бы Юру твоего вызвать?

Юра – это был сын Анны Александровны, который учился в одном из ленинградских высших военных училищ.

– Не надо, – тихо сказала Доброхотова. – Что уж теперь?..

В начале апреля с Доброхотовой сняли гипс и отправили домой в сопровождении двух сотрудниц с фабрики. По дороге, пока ехали в такси, Анна Александровна улыбалась, пробовала шутить, но как только вошла в свою однокомнатную квартиру, вся сникла, губы у нее задрожали.

Сотрудницы посидели с ней, постарались успокоить, обещали навещать как можно чаще, а уходя, попросили ближних соседей приглядеть, помочь, если что. С этого вечера в квартире у Ани Доброхотовой раза два-три в день раздавался осторожный звонок: соседи спрашивали, не надо ли чего. Это были люди, с которыми раньше она почти никакого общения не имела.

Фабричный комитет со своей стороны выделил Ане денежное вспомоществование и предложил путевку в дом отдыха. От путевки этой Аня отказалась, ссылаясь на перемену в настроении и желание поскорее, как только кончится у нее больничный лист, выйти в свой цех.

Ответственного по подъезду в доме, где проживала Аня, милиция попросила на всякий случай, если будет замечен этот таинственный Тихон, сообщить в

отделение. Но Тихона больше не видели. Да и зачем его было искать? Потерпевшая никаких претензий не заявляла, а наоборот, чтобы всему положить конец, сказала, что на лестнице в черкизовском доме не горел свет, поэтому она и упала.

– Света действительно не было, – подтвердили и жильцы из Черкизова.

1

На Ярославском вокзале села в вагон электрички женщина, заняла первую от входа лавочку на два места, где бы напротив нее никто не мог сесть, положила свои сумки и сразу отвернулась к окну. Глаза у нее были сильно заплаканы, и она, видимо, не хотела, чтобы кто-нибудь мог смотреть ей в лицо.

С каждой остановкой пассажиров не убавлялось, а прибавлялось: было холодное сентябрьское предвечерье, и люди с ночи ехали по грибы. Уже в Пушкине грустной женщине пришлось подвинуться: рядом с ней сел грибник, высокий черноволосый видный мужчина в затертом и порванном плаще и с большой старой грибной корзиной, дно у которой все прохудилось и затянато было поржавевшей проволокой.

Конечно, грибнику смешно ехать в лес во всем хорошем. Но на этом и плащ и рубашка могли быть почище. И если бы черные, с легкой сединкой на висках волосы были бы покороче подстрижены, то не так почернел бы и засалился ворот. Женщине это сразу бросилось в глаза, даже заплаканные.

Когда холодный резиновый сапог усевшегося рядом грибника нечаянно коснулся ноги соседки, она вздрогнула и отдернула ногу.

– Виноват! – вежливо сказал грибник.

Тут он заметил, что соседка его в слезах, и посмотрел на нее очень внимательно. На других скамейках шла оживленная карточная игра. Рядом, через проход, длинноволосый парень прижимал к себе дремлющую раскрашенную девчонку. В предвкушении новых грибных «уловов» делились воспоминаниями о черных груздях и опятах грибники-пенсионеры. И никому не было дела до слез этой женщины, что сидела у самого выхода. Никому, кроме вошедшего в Пушкине

высокого мужчины в старых резиновых сапогах.

– Что это вы так расстраиваетесь? – спросил он.

Женщина вдохнула в себя слезы и не ответила. Поспешно достала платок и зеркальце. Несмотря на дрожащие губы, покрасневший нос и мокрые глаза, она была довольно красива, хотя и немолода. Но кое-что в этой женщине, хотя бы голубой плащ-болонья и высокая прическа с пучком-шишкой ярко-рыжего цвета, было данью стандарту. Сама она, видимо, этого не подозревала и считала, должно быть, что выглядит достаточно интересно и модно. К тому же весь костюм ее был предельно аккуратен: ни пятнышка на голубом плаще, свежие босоножки, нейлоновый шарфик, прикрывающий пучок-шишку и собранный бантом под круглым приятным подбородком.

Спрятав мокрый платок, женщина решилась все-таки взглянуть на своего соседа. Их глаза встретились: ее – голубые, плачущие, и его – карие, лихие, под густыми четкими бровями. Побрит он был неважно, наверное, мешали две глубокие складки на обеих щеках.

– На дачу, что ли, едешь, рыженькая? Продуктов-то набрала.

Она хотела резко ответить на «рыженькую». Но это у нее не получилось.

– Нет, в деревню еду. Мама умерла, завтра девятый день... Пришлось отпуск просить, отметить нужно: все-таки в деревне пока с этим еще считаются. Мама тоже большое значение придавала...

– Точно, отметить не мешает, – все так же весело согласился сосед, будто речь шла не о поминках, а о каком-то радостном событии. – А главное, дорогая, ты не плачь. Ты лучше нас жалеешь, живых!

Что он этим хотел сказать? Заигрывал, что ли? Женщина отвернулась, желая показать, что ей сейчас не до того.

Но кареглазый не унимался:

– А я по грибы. Святое дело!.. Ходишь леском, ощущаешь природу. Тут тебе груздь попадет, там, глядишь, беленький. Радостей-то сколько! Верно, рыженькая?

«Рыженькая» подумала, что ее сосед слегка под градусом, поэтому и лезет с разговорами. Но вином от него вроде бы не пахло, и ни в кармане плаща, ни за пазухой, ни в корзине не видно было бутылки, с которой путешествуют в лес многие грибники.

– А то поедете к нам в деревню, – вдруг почти игриво пригласила она. – У нас грибов этих сколько хочешь, коробами волокут.

Сказала и спохватилась: куда же это она зовет совсем незнакомого человека? Ей от станции идти пешком почти три километра по глухой дороге, с собой порядочные деньги. А такой дяденька что хочешь с тобой сотворить может.

Но «дяденька» затряс головой:

– Не подойдет. У меня свои места.

Женщина поймала себя на том, что уже не плачет. Нос у нее утратил красноту, подсохли глаза. Она еще раз взглянула на себя в зеркальце, перевязала шарфик. И вдруг, совсем того не собираясь делать, с чисто женской непоследовательностью рассказала своему соседу, которого только что готова была заподозрить во всех смертных грехах, все, что надо и не надо: до какой станции она едет, как называется их деревня, отчего умерла мать и что после нее осталось и т. п.

– Не знаю, как с домом быть. Продать бы его надо, а посоветоваться не с кем. Сын в Ленинграде, военный служащий...

– А муж?

– Да разошлись мы, знаете ли... Человек был трудный.

Кареглазый усмехнулся:

– Ишь ты, «трудный»!.. А ты, значит, легкая? Ну, поглядим. – И он подвинулся к ней. – А зовут как?

– Анна Александровна...

– Нюша, значит? Аня?

– Это почему же Аня?.. Аня.

Он ласково положил ей ладонь на плечо.

– Ты не Аня, и я не Тиша. Чего уж молодиться?.. Будем знакомы: Тихон Дмитриевич.

Она дернула плечом, освобождаясь от его руки. Что это значит – «молодиться»? Сорок два года – это еще до старости далеко. И тут же подумала, что зря сказала про сына: сразу свой возраст выдала.

Аня постаралась сообразить, кто он такой, этот Тихон Дмитриевич. День был будний, а его несло в лес по грибы. Если отпуск у человека, так уж ехал бы куда-нибудь в дом отдыха или к родне. А то охота такому дяде мотаться по электричкам с худой корзиной! Ладно, если хоть для себя грибы эти собирает, а то, может быть, на рынке их продает по рублю за три гнилых гриба.

– На каком производстве работаете?

– На самом хорошем.

Все это было как-то подозрительно. Аня даже немножко отодвинулась. А Тихон Дмитриевич достал пачку «Памира» и закурил, пренебрегая запретом курить в вагонах электрички.

Горе по матери-покойнице не совсем лишило Аню аппетита. Она достала из сумки булку, плавленый сырок, потом еще купила у проходящей по вагону мороженщицы пачку пломбира. Но есть одной было как-то неудобно.

– Поделиться могу с вами.

– Спасибо, рыженькая моя, не хочу.

Когда доехали до платформы 83-й километр, Тихон Дмитриевич вздел веревку от своей корзины через плечо и поднялся.

– До свидания, Анна Александровна. Гляди, больше не плачь.

– До свидания, – уже холодно ответила Аня, утираясь после мороженого.

Он вышел в тамбур, оттолкнув дверь резиновым сапогом. Еще с минуту видна была через стекло его высокая фигура, но он ни разу на Аню не оглянулся, и она с горечью подумала: чего тогда и лез знакомиться?

Зашипели наружные двери. Тихон Дмитриевич сошел на платформу и затерялся среди высадившихся грибников.

В Александрове Ане предстояла пересадка, и она села на платформе под фонарем ждать своего поезда. Хорошо бы зайти после трехчасового пути в туалет, но оставить сумки было не на кого, а идти туда с продуктами Аня брезговала.

И вдруг она опять увидела Тихона Дмитриевича. Он вышел из вокзального буфета, что-то жуя, и пошел в другой конец платформы. Потом еще раз прошел мимо Ани. Она не могла ошибиться: своими глазами она видела, как полчаса назад он сошел на 83-м километре. И ей пришла в голову мысль: уж не выслеживает ли ее тут этот человек? Аня была не из пугливых, но теперь испугалась, схватила свои сумки и побежала в вокзал посмотреть, нет ли случайно кого-нибудь из знакомых с их станции. Но никого не нашла.

Тихон Дмитриевич в третий раз прошествовал мимо. Ане показалось, что теперь он ее заметил, но не показал вида. Это уже было совсем подозрительно. Ее донял страх, и появилась мысль обратиться к милиционеру. Но тут как раз подали состав на Ярославль, и Аня увидела, что Тихон Дмитриевич совсем не собирается в него садиться. Он расположился со своей корзиной в глубине платформы, закрыл глаза, уткнулся носом в воротник плаща и дремлет. Объявление о посадке не всколыхнуло его.

Облегченно вздохнув, Аня забралась в вагон со своей поклажей и, пока поезд не отошел, не спускала тревожного и недоумевающего взгляда с уснувшего на перронной лавке Тихона Дмитриевича.

– Тьфу ты!.. – сказала она почти вслух, задетая тем, что все-таки осталась без мужского внимания. – Ну и Тихон, с того света спихан!..

Совсем успокоившись, она рассудила, что этот Тихон просто сошел на 83-м километре, чтобы пересест в другой вагон. Может быть, с дружкой каким-нибудь договорился, может быть, контролера приметил. Как-никак он скоротал ей два часа пути, обижаться не приходилось. А то бы всю дорогу так и проплакала.

Но Аня тут же упрекнула себя за легкомыслие: «Наболтала ему черт-те чего. Из-за какого-то дурака и про маму забыла...»

За окошком бежали, скакали темные кусты. Стекла начали потеть – к ночи еще холодало. Никогда расстояние в семьдесят пять верст не казалось ей таким длинным и тягостным. Она была от природы разговорчива и в потоке слов часто находила себе утешение. А тут вагон был почти пуст.

Дверь отворилась, и Аня вздрогнула. Вошел проводник.

– С билетом едешь?

Анин вид внушал доверие, проводник на билет даже не посмотрел. Ушел, щелкнув дверью, а Аня опять вздрогнула. Ей становилось страшно.

«Как же я лесом-то пойду? Догонит кто-нибудь, так ведь со страху умрешь!..»

Под «кем-нибудь» она невольно предположила того же Тихона Дмитриевича. Она видела, что он остался на перроне в Александрове, и все-таки теперь ни за что не могла поручиться. Вспомнила, как сама звала его с собой, и себе же ужаснулась: «Вот ведь дура-то неумная!..»

Когда осталось ехать километра два, Аня достала из сумки резиновые сапожки и переобулась. Сапожки были такие же чистые, как и все на ней, новые. Сойдя с

поезда, она несколько раз оглянулась по сторонам. У станции горели два ярких фонаря, а вокруг была одна сентябрьская сырая темень. Дорогу отыскать можно было только угадкой, небо было серо-черное, трава под ногами – кочковатая и скользкая.

Со сноровкой бывшей сельской жительницы Аня взяла наперевес через плечо свои сумки, предварительно подколов-английскими булавками полы плаща-болоньи, и быстренькими шажками направилась в темноту, все больше убеждаясь, что никакой Тихон Дмитриевич за ней не идет.

...В деревне не было уже ни одного огня. Дом покойницы матери стоял весь черный, загороженный высокими черемухами. Аня опасливо обошла знакомый с детства заборчик и постучала к соседке, к Клавдее.

Снимая в сенях грязные сапожки, она уже радовалась хотя бы тому, что благополучно дошла. Было всего начало двенадцатого, но для деревни это уже полная ночь: в десять часов отгядели телевизор и легли. Тикали ходики на стенке, и шуршали в потемках поздние, вялые мухи.

Клавдея согнала с кровати двух уснувших ребят, постелила им на полу, а на кровати, на перине, уложила Аню. Перина была глубокая, большая, нагретая детьми. В Москве у Ани была тахта-кровать, жесткая, как вагонная лавка. Она подумала, что может теперь увезти перину, оставшуюся после покойницы матери, и подушки тоже. Только не знала еще, куда днем эту перину прятать, чтобы не разрушить в комнате «стиль». А перину ей хотелось: сорокадвухлетнее пополневшее тело часто тянулось к покою.

...Да, перину-то можно было увезти. Но покоя, как Аня понимала, все равно не будет. Покрутишься с боку на бок, пока уснешь. И свет зажжешь среди ночи, потому что страшно: ведь одна осталась. Было за что обижаться на судьбу: за одно лето и муж бросил, и мать умерла. Ну, тот подлец бросил, так уж пропади он пропадом – значит, не любил. А мать-то и жалела, и любила. Такая суровая была по виду женщина, необщительная, себе на уме, а все для дочери. Приехав на другой день после ее внезапной кончины, Аня нашла в комодке сберегательную книжку, из которой видно было, что все деньжонки – и пенсию свою, и те, что сама Аня матери понемногу высылала, целы и лежат на ее, Анино, имя. Что-то около полтысячи рублей...

Вспомнив про эти полтысячи, Аня тут же подумала о том, что если удастся продать дом и все остальное, то сумма будет очень порядочная. За гардероб с зеркалом могут дать в деревне рублей пятьдесят, за круглый стол – не меньше двадцатки. Та же Клавдея возьмет: у них пообедать сесть не за что.

«Господи, о чем я сейчас думаю, дура я несчастная!» – упрекнула себя Аня. Ей стало стыдно, словно кто-то мог подслушать ее мысли. Ведь всего неделю назад она рыдала на все кладбище: «Мамочка, родная, самая разродная!.. Не отойду от твоей могилки, не троньте меня, не уводите от моей мамочки!..»

...Нет, не уснешь, хоть не только одну, три перины под бок подложи. Да еще мухи шуршат так противно, словно земля сухая в яму осыпается, как тогда на кладбище. Кажется, вовек этого шороха не забыть!

«Мамино пальто можно будет Симе Душкиной предложить...»

Аня опять спохватилась: «Господи, опять я про это. Пальто какое-то в голову лезет!..» Она положила подушку под щеку холодной стороной. И вспомнила: «Что же это я Клавдее не сказала, что мясо у меня в сумке?! Ведь у них кошки...»

Аня прислушалась, спокойно ли в сенях.

«Не засну, нипочем не засну до самого утра... Ужас какой! Еще часу небось нет...»

И все же наконец почувствовала, что засыпает. А кареглазый лихой Тихон Дмитриевич будто сказал ей на ухо:

– До свидания, Анна Александровна! Больше, смотри, не плачь.

2

Утром Аня поднялась рано, грустная и безмолвная, попила чаю у Клавдеи. Пила и ловила себя на мысли, что долго не промолчит, что хочется ей обо всем подробно с Клавдеей поговорить. Покойная мать, бывало, как только приедешь, через порог не даст переступить, уже лезет с расспросами:

– Ну, а он-то што?.. А ты ему што?.. Ну и удумали в две головы!.. А что бы с матерью-то пересоветоваться? Глотка бы не усохла.

Погудеть для нее – это было первое дело. Тебя же и обругает, но тебя же и успокоит. А Клавдея была баба застенчивая, в чужие дела никогда не лезла, да и некогда ей было чужие дела разбирать – своих забот хватало. Вот и сейчас: пора загребать жар в печи, из чугуна суп убегает, в сенях визжит и крутится в загородке поросенок Борька. И надо еще развести углевой утюг, чтобы подгладить ребятам рубашки и пионерские галстуки. Электрического утюга Клавдея из экономии не держала.

– Не припалить бы ненароком, – озабоченно бормотала она, водя тяжелым утюгом по красному, запачканному кое-где чернилами галстуку. – Шелк-то теперь все искусственный...

Отправив ребят в школу, Клавдея проводила Аню в оставшийся ей от матери дом. Сняли большой замок. В сенях кисли собранные матерью еще в день смерти лесные ягоды. Заплесневели, покрылись белой тиной огурцы в большой кадке. В доме было сыро, с печи пахло луком. Мать его там рассыпала сушить, но печь уже девятый день стояла нетопленая, и лук начал портиться.

В первую минуту Аня совсем растерялась и села, не зная, с чего начать, за что приниматься.

– Чуркинский дачник спрашивал давеча, не продашь ли какую икону, – сообщила Клавдея. – Он еще у матери у твоей все примерялся купить.

– Еще чего! – рассердилась Аня. – Нахальство какое! Это же память... Ей, может быть, цены нет, а он сунет какую-нибудь пятерку!..

В этом самом доме Аня, точнее сказать, Нюра, Нюша, родилась и прожила до семнадцати лет. Потом дважды в году, среди зимы и к осени, на Иоакима и Анну, когда обе они с матерью были именинницы, она приезжала сюда гостить – от Москвы было неполных двести верст. В этом доме она знала каждую наклеенную на стенку картинку, каждое пятно на обоях, которые они с матерью так и не собрались переклеить. Все сейчас тут было на своем месте, но Аня ничего не узнавала: не было самой мамы – все стало незнакомым.

– Руки ни на что не налегают, – грустно сказала Аня.

Потом они с Клавдеей все-таки принялись хозяйничать. Одна пошла по воду, другая – за дровами. В огороде не выкопанная еще картошка вся усыпана была мелкой желтой антоновкой. Теми самыми яблоками, за которыми в Москве стоят в очереди и платят по сорок копеек за кило. А тут их не один пуд. Но Ане сейчас было не до этих яблок.

Она затопила плиту, потом, немножко обвыкшись, отпустила Клавдею, у которой своих дел было полно. Уходя, та попросила не выбрасывать селедочные головки – она поросенку сварит.

Аня отложила эти головки, потом хотела крутить котлеты из привезенного мяса, но не нашла мясорубки, которая, она точно знала, у матери в хозяйстве была.

«Неужели Клавдея унесла? – подумала Аня, заподозрив тихую свою соседку, потому что только ей и оставила ключ от дома. – Да что же это за люди такие!..»

Не нашла она и капронового сита, чтобы протереть ягоды. Не нашла большого куска новой марли, который сама недавно привезла матери и в который откидывала творог. И сердце у Ани так гневно задрожало, что она сразу же решила никому из деревенских ничего не дарить на память из материнского достояния.

Но как бы то ни было, готовить поминальный обед нужно было. Аня сварила суп из венгерских пакетов, зажарила мясо, сделала сладкое и пирог на дрожжах. Поставила на стол бутылку портвейна, бутылку «московской» за два восемьдесят семь. В день похорон она угощения организовать не смогла: нервы не выдерживали, голова шла кругом, и нужно было сразу возвращаться в Москву, чтобы оформить краткосрочный отпуск. Теперь Аня хотела убить двух зайцев: помянуть, как положено, мать, не обидеть ее память, и оказать уважение своим землякам. То ли продается этот дом, то ли нет, так надо людей как-то расположить. Может быть, кто-то и приглядит за подворьем, а то ведь все по доскам растащить могут.

«На двадцать с лишком рублей только продуктов привезла да на вино потратилась, – сказала сама себе Аня. – Хватит им!..»

Но когда она пошла за «ними», то есть за своими деревенскими, чтобы пришли помянуть, то никто, кроме двух старушек, поначалу идти не хотел. Все ссылались на неотложные дела. Даже Клавдея как будто почувствовала что-то в настроении Ани, стала отговариваться тем, что ей на ферму нужно и что без нее дети уроки не поделают.

Сама же Аня поймала себя на том, что когда пришла приглашать Клавдею, то сразу же окинула глазами ее кухню, но ни мясорубки, ни сита не увидела. Марля на шестке висела тоже как будто бы не похожая, реденькая, желтая.

Клавдея все-таки на поминки пришла, но сидела как-то принужденно и молчала. Никто почти ничего не кушал. И Аня, привыкшая считать, что в деревне едят – как за себя кидают, была огорчена и обижена: тащила сюда все, старалась, надрывалась.

Она угощала и так и сяк, потом начала плакать. Слезы все и спасли. Настроение переменялось. Сперва прослезилась Клавдея, самая ближняя соседка покойницы, за ней остальные. Со слезами да с воспоминаниями и поели кое-что. Но Аня чувствовала, что жалеют не покойницу, а сочувствуют ей, Ане, в ее горе. Для нее не секрет было, что мать в деревне не больно любили. Аня еще девчонкой была – мать всех прочь гнала со своего крыльца, как будто могли приступки просидеть.

– Вон бревна-то свалены у пожарки. На них и сидите, а тут вам не клуб.

Отгоняла она молодежь, но потом стали обходить дом и ее же сверстники. Садилась где-нибудь напротив: пусть крылечко было тут и ветхое, да дочиста вымытое. В доброхотовскую сторону и не глядели. С того боку и солнышко не светит.

Но об умерших плохо не говорят. Тем более когда родная дочь рядом, плачет, переживает.

– Хозяйка была, – сказал кто-то уважительно о покойнице.

Аня вытерла слезы, отогнала прежние нехорошие мысли и каждому, кто явился на поминки, решила дать что-нибудь в память.

Пятилетней Клавдеиной девочке, которая пришла весте с матерью, дала керамическую фигурку и пластмассовую коробку под нитки. Самой Клавдее – эмалированное ведро и совсем еще хорошую дорожку на пол.

– Пройдешь по ней – вспомни мою маму!

Клавдея в долгу не осталась, вечером пришла помогать Ане копать картошку. Аня копала в старых шерстяных перчатках, Клавдея – голыми руками.

– Ой, да ну ее, эту картошку! – сказала Аня и взялась за поясницу. – Тут ее и за неделю не выкопаешь.

– Выкопаем, – заверила Клавдея, поддевая куст лопатой и отрясая в борозду. – Как же это бросить, не выкопать? Баба Нюха старалась, садила.

Аня не любила, когда мать называли бабой Нюхой. Но сейчас она простила Клавдее это прозвище, оброненное невзначай. Мать-покойница выговаривала не чисто букву «ша», получалось не «Нюша», а «Нюха». Она и мужа своего, Аниного отца, звала Хуркой вместо Шурки.

Копали Аня с Клавдеей и на другой день, нарыли что-то шесть мешков. Аня без привычки замучилась, хотя и была женщиной не из слабых: за аппаратом в карамельном цехе стояла каждый день по восемь часов – и хоть бы что. Но картошка – не карамель, ее и лопатой поддень, и куст отряси, и куль оттащи. А главное – раздражали грязь да пыль, неудобными казались ватник и тяжелые сапоги.

– Сладкое-то вы там свободно едите? – спросила Клавдея. – Конфеты-то, чай, в любое время?

– Да и смотреть не хочется.

Эти слова что-то задели в Клавдее. Она воткнула лопату в землю и стала рассказывать, как она девчонкой в военные годы работала на пекарне, видела, как другие не только муку, но и сахар тащат, а сама до того робка была, что крошки взять не смела.

– Формы мажу, а нет чтобы когда маслица отлить хоть с ложку... Раз зимой забоялась одна ночью на пекарню идти, захожу за Наташкой Пестовой, а они сидят ужинают и прямо из бидончика масло в картошку-то льют!.. Испугались, садят меня тоже картошку есть, а я как заплачу!..

Аня не слушала и даже досадовала: и чего это Клавдея бормочет? Историю про масло и про сахарный песок она уже слышала от нее не раз. Пора бы уж и забыть. Неприятно это было слушать и потому, что сама Аня в свои детские годы при отце и матери лиха не видела. Отец был путевым обходчиком, приторговывал шпалами, обкашивал все участки вдоль линии, держали двух коров. И мать была расчетлива: крынку сыворотки и то никому даром не нальет. Потом отец кладовщиком в совхоз устроился, а что уж дальше было, Ане тоже вспоминать не хотелось.

...Солнце садилось. Ане перед Клавдеей неудобно было, а то бы она уже давно бросила лопату. «Вот разошлась некстати!..» – досадовала она на свою ретивую помощницу. И вдруг услышала, как та кого-то окликнула:

– Эй, дядечка, картошку, что ли, покупаешь? Иди, продадим.

Аня оглянулась и вздрогнула: за изгородью стоял, смотрел на нее своими карими, запомнившимися ей глазами и улыбался Тихон Дмитриевич.

– Как же это вы меня разыскали? – спросила Аня, они уже сидели в доме за столом. – Далекое все-таки.

– Для бешеной собаки сто верст – не крюк. Вы же приглашали.

– Да я же не всерьез... Что же вы чай-то не пьете?

Аня уже немножко кокетничала. Она была польщена: все-таки он ее запомнил, явился.

Тихон Дмитриевич на этот раз одет был вполне прилично: в хорошем пиджаке, в начищенных полуботинках. Аня сообразила, что он успел уже дома побывать за эти двое суток. Наверное, одинокий, а то разве жена пустила бы туда-сюда кататься? И побрит, и подстрижен был хорошо, значит, побывал и в

парикмахерской, казался гораздо моложе, чем Аня при первой встрече предположила.

Тихон словно бы не замечал, какое он производит на нее впечатление.

- По грибы-то ходишь, Анна Александровна?

- Какие мне сейчас грибы, что вы!..

- А может быть, пойдем завтра?

«Ишь ты, завтра! Значит, ночевать у меня собирается», - подумала Аня. - Пускай на мосту[1 - Мост - сени в срубе (диалект., яросл.)] ложится, а я в комнате запрусь».

- Зачем мне грибы-то? - сказала она. - Солить не во что, держать в Москве в квартире негде. А вы, наверное, продаете?

- Да ни в коем случае.

«И то, пойти, что ли, с ним?..» - уже прикидывала Аня.

В конце сентября темнеет рано. Правда, вечер был славный, не слишком туманный и сырой. Тихон Дмитриевич снял чистый пиджак и помог Ане принести с огорода кули с картошкой.

«Что Клавдея-то про меня подумает? - опустил глаза, думала Аня. - Скажет: прямо после поминок...»

Она постелила Тихону Дмитриевичу в сенях, где на старой деревянной кровати лежал матрац, набитый свежей овсяной соломой - еще мать припасла.

- Во сколько же поднимать вас завтра? - спросила Аня.

- Да я сам тебя подниму, - сказал Тихон, насторожив Аню таким ответом.

Она нарочно громко скребыхнула крючком, чтобы он слышал, что она от него заперлась. Потом ей показалось, что он вышел из сеней на улицу и бродит под самыми окнами. У нее еще горел свет, она не спеша раздевалась.

«А ведь ему меня видно... Ладно, пусть поглядит».

Сделав так, чтобы он все-таки не очень нагяделся, она погасила свет и легла. Но в потемках ей сразу стало как-то страшно.

«Ведь не знаю я его совсем. Сорвет крючок на двери да и пристукнет меня. Или деньги потребует. И ничего не сделаешь, все отдашь, лишь бы живую оставил... Хоть бы догадалась я, идиотка, топор с места убрать!..»

Пока Аня мучилась такими страхами и обзывала себя то идиоткой, то дурой, Тихон Дмитриевич ушел из-под ее окон, вернулся в сени и лег, вызвав слабое шуршание в соломе и скрип деревянной постели. И стало совсем тихо. Никто к Ане не ломился, никто ни на ее деньги, ни на ее честь не покушался. Она пролежала часа два с раскрытыми глазами, пытаясь расценить события.

Сегодня она этого Тихона рассмотрела получше. Мужик видный, ничего не скажешь. И не алкоголик, а то обязательно заговорил бы сразу насчет бутылки. Держится вроде бы совсем прилично. Может быть, зря она про него всякие темные вещи думает: просто она его как женщина заинтересовала.

«Тогда чего же он, дурак, сейчас-то не постучит?.. Боится, значит. Тогда уж это тоже не мужик. Я бы не пустила, но все-таки знала бы...»

Тихон так и не постучал. Аня уснула, тревожная и раздосадованная. Утром, когда она очнулась, в сенях по-прежнему было тихо.

«Спит! А говорил, что разбудит...»

Она быстро оделась и откинула крючок на двери, Тихона в сенях уже не было. Она увидела его в огороде: он докапывал картошку, которую они с Клавдеей вчера не одолели. А ее, значит, пожалел будить... Тихон был в нижней рубашке, с раскрытой грудью, а на дворе было еще холодно и росисто.

– Тихон Дмитриевич, да что вы это? – почти с нежностью спросила Аня. – Зачем вы?

Потом они пили чай. Самовар Аня поставить поленилась, согрела на плитке чайник. Тихон пришел с огорода и мыл руки под железным раковником. Аня смотрела ему в спину и думала: «Как муж все равно... Интересно!»

Перед тем как отправиться в лес, Аня села к зеркалу и долго наводила красоту: чернила ресницы, клала тень на веки, укрепляла шпильками пучок-шишку на голове.

– Тебе лучше коса пойдет, – вдруг сказал Тихон. – И бросала бы под лисицу-то краситься.

Аня только усмехнулась.

– Может, не пойдем в лес? – спросила она, поворачиваясь к Тихону подкрашенным лицом. – Сыро сейчас там. Да и грибов-то, наверное, уже нету теперь.

Ей еще проще было бы сослаться на то, что у нее других дел полно. Но Аня сейчас о делах думала меньше всего. Просто для того, чтобы отправиться в лес, нужно было обувать сапоги, повязываться платком, надевать ватник или какое-нибудь другое старое пальтишко. А ей хотелось быть красивой и модной, не какой-нибудь деревенской Матреной.

– Разве что так пойдем погуляем, берегом пройдемся.

Аня даже корзины под грибы не взяла, а Тихону дала старое ягодное лукошко, которое, если останется порожнее, не жалко и бросить в лесу.

Она повела его полем, между скошенных овсов. По колкой стерне прохаживались черные галки, склевывали оброненное зерно. Покачивались по закрайкам поздние пахучие ромашки. Роса на их мелких жестких цветах уже обсохла, сырыми оставались только стрелчатые листья – от них-то и пахло сладковатой осенью, пустынностью поля.

– Как спалось-то? – спросила Аня.

Тихон ответил не сразу.

– Я на сене люблю спать, чтобы небо видно было. Летом накосить, чтобы с марьянником, с колокольчиками!..

– У нас тут частным лицам косить не дают, – прозаически заметила Аня.

– А я бы и спрашивать не стал. Мне ведь не тонну надо.

Им попалась навстречу Клавдея – уже успела побывать с бельем на речке.

– Куда это вы собрались? Смотрите, нынче Сдвиженье, в лесу змеи сползаются.

– Серьезно? – испуганно, будто в первый раз это слышала, спросила Аня.

Тихон сделал успокаивающий жест: ерунда, мол. И они пошли дальше, провожаемые удивленным взглядом Клавдеи.

...В лесу было действительно сыро и, несмотря на конец сентября, очень еще зелено и густо. Дождливая и безморозная осень не давала лесу выцветиться, пожелтеть.

Только косматая трава обрыжела и огрубела. В сосняке толсто лежали сухие иглы, земля под ними прела и выталкивала из себя грибные семьи: масляки, лисички, сыроежки всех цветов – белые, оливковые, синие, красные...

– Да не бери ты их, – сказала Аня. – Подумаешь, грибы!..

Она перешла на «ты» и очень волновалась. А Тихон как будто этого совсем не замечал, занялся грибами. Палкой он разрыл хвойный ворох и нашел под ним два маленьких, сросшихся парой белых грибка-карапузика в полмизинца высотой.

– Вот вы где, шельмецы!..

Потом его внимание привлекла сытая птичка с толстым сердитым носом. Она клюнула красную ягоду на кусте шиповника и тихо, с шипом, присвистнула. Сразу же рядом оказалась вторая птица, такая же сытенка, но менее заметная пером.

- Видишь, нашел пищу и дамочку пригласил! - показал Ане Тихон.

- Нужны тебе воробьи эти!

- Хороша! Снегирька от воробьев отличить не можешь.

Он набрал грудку красной брусники и хотел положить ей в рот.

- Да я не люблю ее, - сказала Аня. - Все губы свяжет...

- А что же ты вообще-то любишь? - спросил Тихон, прищурив свои карие опасные глаза. - Тебе тогда и в деревню ездить нечего. Ходи на Неглинную, в Пассаж.

Они поглядели друг другу в глаза. «Чего это он придумывает? Как будто издевается...»

Аня знала все эти лесные места как свои пять пальцев и заблудиться никак не могла. Но страшно боялась вдруг остаться среди леса одна. Они, бывало, с покойной матерью ходили всегда след в след, перекликались. А Тихон, как нарочно, уходил от Ани, скрывался за кустами. И не сразу откликался.

Болонья на Ане вся промокла, с полы вода натекала в резиновый сапожок. Она дрожала и уже мучилась.

- Тихон!.. - почти с отчаянием громко закричала она.

Он вышел с той стороны, откуда она его не ожидала.

Оказывается, он был тут, совсем близко. Праздничный пиджак и ботинки его были тоже совершенно мокры - не пожалел.

– Чего ты испугалась? – спросил он очень ласково, заметив бледность и тревогу у нее на лице.

– Я не испугалась, Тихон, – тихо сказала Аня. – Ты не уходи от меня...

Он понял. Поставил на траву свое лукошко и подошел к ней.

Домой они все-таки несли грибы. Их набрал Тихон, десятка два некрупных, только утром вылезших из земли белых. Он подстелил под них травки и всю дорогу любовался на свое лукошко, перекладывал в нем эти грибы, чтобы было красивее.

«Чему он радуется?.. – с недоумением думала Аня. – Рад, что женщину нашел по себе или грибы эти ему все на свете заслоняют?..»

То ли вспыхнувшие чувства помешали, то ли она совсем разучилась искать, но сегодня Аня так и не увидела ни одного ценного гриба и очень удивлялась, как это их видит ее спутник.

– Гриб любит, когда ему поклонись, – объяснил Тихон. – А места, верно, у вас хорошие. Не наврала ты мне, рыженькая моя!

Он обнял ее за плечи и поцеловал в щеку. Она хотела подставить губы, но он уже шагнул дальше. Аня шла за ним и думала: что же такое происходит? Как этот человек за какой-нибудь неполный день сумел взять над ней такую власть? Она уже сегодня пообещала ему, что дома своего в деревне не продаст: глядишь, и еще когда-нибудь соберутся сюда. Ей пришло в голову, что ее дом, может быть, и есть та приманка, на которую клюнет этот красивый, ласковый и в то же время опасный мужик. Все ему тут так нравится! Пиджак вымочил, ботинки испортил и идет, радуется, как мальчишка. Или уж правда тут у них так красиво, богато, хорошо? Что же она раньше-то этого не замечала?..

– О чем задумалась? – спросил Тихон.

– Да так... И сама не знаю.

- Ну, подумай, подумай. Это никогда не мешает.

«А ведь он вроде смеется?..» - уже тревожно прикидывала Аня. Она настолько была этим Тихоном загипнотизирована, что, ничего не зная о нем самом, про себя почти все ему выложила. Ей думалось, что все равно, если будут они вместе, он ее обо всем строго расспросит. А ей хотелось эти расспросы опередить, выглядеть искренней и доверчивой. Тихон слушал ее внимательно, как будто хотел запомнить каждое слово. Но потом спросил довольно равнодушно:

- А чего это ты передо мной все исповедуешься? Я ведь тебе не поп.

- Да чтобы ты не подумал, Тиша, что я очень женщина плохая. Бывают гораздо похуже.

- А я и не думаю. Наверное, бывают. Ты у меня сладкая, ванильная! Вроде торта! - И Тихон похлопал ее по мокрой голубой болонье.

Аня невольно понюхала воротничок отсыревшей помятой блузки. Привычка мешала ей улавливать свой сладкий запах. Сейчас она слышала только запах сырых хвойных иголок, налипших на ее плащ и засыпавшихся за шею.

«Никак его не поймешь. Что шутит все, так это еще ладно. А вот, может быть, не только жена у него есть, но и детей косяк. Раньше нужно было спрашивать, а теперь уж все равно...»

...Когда они открыли избу, Аня села, не имея даже сил снять с ног грязные сапожки. Тихон нагнулся и разул ее.

- Здорово ты промокла-то, - сказал он. - Затопим, может быть? Я дров принесу.

- Да погоди!.. - прошептала Аня, тронутая его заботой, теплом его рук. - Погоди, Тиша!..

Он руку освободил и спокойно заметил:

- Хватит пока. Разгулялась, рыженькая!..

Аня справилась с собой, встала, стряхнула мокрую болонью. А Тихон, уже как хозяин, принес из сарая дров и растопил плиту. Приготовил сковороду и сел на порог чистить грибы.

Он провел в этом доме считанные часы, но почему-то точно определил, где что стоит, где что лежит. Сразу нашел соль, бутылку с маслом, взял с печи две луковицы и не плача их очистил.

Когда грибы начали у жариваться, он положил нож и надел свой пиджак.

- Погляди тут, я сейчас приду.

Аня видела в окошко, что Тихон направился к магазину. Оказывается, он уже знал, где и магазин. Наверное, еще вчера разведку произвел. Ходил небось по деревне и про нее спрашивал. Теперь все знают... Но тот ли это человек, которому она может вполне довериться, она, такая сейчас растерянная, осиротевшая?

Тихон вернулся из магазина с бутылкой «Кубанской». Достал стаканчики, налил себе и Ане, положил ей на тарелку жареных грибов.

- Ну, Анна Александровна, за все за хорошее!

У Ани чуть не брызнули слезы.

- Будет ли оно, хорошее-то?

На это Тихон ответил:

- Хорошее все зависит от нас самих.

«Кубанскую» они распили поровну: Ане хотелось разогреться, осмелеть и помолодеть. И она хитрила: не хотела, чтобы Тихон выпил лишнее, зачем он ей нужен пьяный? Сама она, достаточно захмелев, все-таки соображала четко: если сейчас он побежит «добавлять», значит, трудно будет с ним и уж сегодня, во всяком случае, ничего хорошего не получится.

Но Тихон «добавлять» не пошел. Он сам убрал посуду со стола, потом сказал:

– Ну, мне на поезд пора. Спасибо.

Провожать его Аня не пошла, да он ее и не звал. Она просидела почти до сумерек одна. Потом в дверь постучалась Клавдея. В руках у нее была мясорубка.

– Емельяныч давеча утром занес: баушка твоя ножи направлять отдавала.

Аня молчала и ждала, что Клавдея спросит про утреннюю прогулку. Но Клавдея была баба скромная. Сделала вид, что и не заметила порожней «Кубанской» под лавочкой. Все еще почитая себя должницей за дорожку и эмалированное ведро, подаренные Аней, предложила:

– Давай картошку-то в подполье опустим. Когда еще продастся.

Аня покачала головой: не до картошки, мол. Тогда Клавдея вытрясла порожние кули и разложила их по сням, чтобы сохли. Провожая ее на крыльцо, Аня вдруг попросила:

– Клаша, ты узнай при случае... Сот за шесть я бы все-таки дом отдала. Куда мне одной?.. Я ведь работаю, квартира у меня.

«Неужели ни о чем не догадывается?.. – думала она, присматриваясь к Клавдее. – Ведь на мне прямо написано, что я с мужиком была... А дом продам. Нужна я ему, Тихону этому, так и без дома сойду».

3

Лежа одна в потемках избы, Аня постаралась вспомнить, что же она сегодня Тихону в пылу доверия про себя выговорила. Честно призналась, что семейная жизнь у нее сложилась не гладко. Кое-что она, понятно, утаила, кое-что прибавила в свою пользу. Может быть, Тихон и не очень поверил. А может, ему и вообще-то наплевать?..

Аня лежала в избе, где пахло пылью от картофельных кулей, попорченным луком. И немного еще табачным дымом – это осталось после Тихона. Лежала и все вспоминала...

Из деревни она в первый раз уехала в сорок седьмом году. Мать не очень охотно отпускала ее от себя, совсем молоденькую и красивенькую, – опасалась. Но был и резон: девчонка росла балованная, еле-еле из шестого в седьмой перевалила. Пришлось бы в поле овес вязать или на лесозаготовку – волком бы взвыла, потому что без привычки. В городе все-таки работа полегче. А обувь-одеть на первый случай есть что: одна дочь у матери.

Аня приехала к родне в старое Кунцево, с большими трудами прописалась и устроилась там же, в Кунцеве, на трикотажную фабрику мотальщицей. Как раз кончились карточки, можно было купить сколько хочешь черного и белого хлеба. Но черного Аня и дома вдоволь видела, а тут, дорвавшись до подмосковных булок и саек, не знала удержу. Хлеб ей шел не в толщину, а в силу и в румянец. Девчонка еще больше похорошела и теперь даже в зеркало редко заглядывала – так была уверена в себе. Из Нюрки она быстро сделалась Аней и захороводила всех ребят в округе. Ухаживали за ней и женатые, и пожилые, рабочие и мастера, влюбился даже механик. Но Анино поведение строго контролировалось кунцевской родней, и, хотя ее голова кругом шла от успехов, она твердо продержалась до совершеннолетия. Работала Аня старательно, зарабатывала для девчонки много, накупила себе обнов и, боясь, чтобы их в общежитии не расхитили, держала у тетки. Туда же и бегала каждый день после смены, чтобы переодеться для кино или концерта.

– Главное, от солдат держись подальше, – предупреждала тетка. – С солдата потом не спросишь.

В этом Аня с теткой согласиться не могла: как раз солдаты и были самыми приличными ухажерами. У них, правда, не было денег, но уж если назначить солдату встречу на восемь вечера, то без пяти он будет стоять где-нибудь под часами, ковырять асфальт своим кирзовым сапогом и краснеть в волнении от ожидания. Для солдата встреча с девчонкой – праздник, а гражданский парень опоздает на полчаса, да еще и ломается: «Зря я на футбол не пошел!..»

И все-таки не солдату суждено было стать на Анином жизненном пути.

Весной сорок девятого года она познакомилась со студентом-медиком Мариком Шубкиным. У его родителей была в Кунцеве большая старая дача с полуразрушенной террасой и беседкой в саду. Сам Шубкин, профессор-терапевт, уже ходил с палочкой, супруга его была помоложе, но все равно показалась Ане старухой. Марик был их единственное запоздалое дитя.

Знакомство произошло как в песне – у колодца. В неисправности была уличная водоразборная колонка, и соседи с ведрами устремились в сад к Шубкиным, где сохранился единственный, уже очень запущенный колодец. Туда же тетка послала за водой и Аню.

– Можно у вас ведерочко набрать? – спросила Аня у студента, который сидел в ветхой беседке с учебником на коленях. – А то у нас ни водиночки в доме.

Эта «водиночка», сказанная через приятное «о», выдала в Ане уроженку северных мест. Она тогда еще заметно окала, потом в себе это совершенно преодолела, чтобы кто-нибудь, не дай бог, не узнал, что она из глухой деревни. Но сейчас именно эта «водиночка» чем-то пленила заучившегося студента. Он положил свою книжку и подошел, чтобы помочь Ане управиться с цепью и воротком.

– Что вы, я и сама достану, – бойко сказала Аня. – А то вы еще обольетесь.

У нее были такие голубые глаза и заманчивые яркие щеки, что Марик и сам покраснел. Аня налила ведра и пошла. На спине у нее закачались две ржаные косички с васильковыми лентами в хвостах. Она уже на свои волосы покушалась, и только парикмахерша отговорила ее, сказав, что косы теперь опять в моде, что их покупают за большие деньги и приплетают всеми правдами и неправдами к остриженным волосам.

Остаток дня студент занимался рассеянно, а позже сам признался Ане, что получил первую двойку по гистологии.

Колонку на улице починили не так скоро, и Аня опять появилась с ведрами возле шубкинского колодца. Зацвела белая сирень. На Ане было светлое платье «японка» с подкладными плечами, которое она, таская воду, сумела не облить и не запачкать.

– Как вас зовут? – спросил Марик.

– На букву «А», – сказала Аня.

Во время этого многозначительного разговора на террасу вышла хозяйка дачи, мать Марика, пожилая женщина с серыми усиками и маленькими ручками. Она увидела розовощекую девицу в светлой «японке», но ровно ничего не заподозрила и сказала сочувственно:

– Боже мой, все еще не починили колонку!

Аня еще не догадывалась о том, что произвела известное впечатление на студента. В этот вечер у нее назначена была встреча совсем с другим кавалером. В парке ее ждал «слесаренок» Валька. Он скормил ей три порции мороженого, но после этого повел себя слишком смело. Аня напугалась и обиделась. Когда танцевали, Валька тоже хамил и нарочно наступал ей на ноги. И не так Ане было больно, как она жалела испачканные новые босоножки. Когда сидели на скамейке, Валька продолжал валять дурака, так что на них раза два оглянулся дежуривший в парке милиционер. В конце концов Аня даже заплакала, плюнула Вальке на шевиотовые брюки и ушла домой.

– Кто это тебе сделал? – спросил на другой день Марик, увидев у Ани повыше локтя синяк, след «нежности» Вальки-слесаренка.

– Да так, дурак один, – сказала Аня. И со значением поглядела на студента, давая этим понять ему, что с тем «дураком» все покончено.

В отличие от здоровяка Вальки, Марик был невысок, худ, носат и очень рыж. Короткие волосы его были так курчавы, что Аня вполне могла предположить, будто он на ночь накручивает их на бумажки. Через неделю Марик сдал последний экзамен, и они с Аней договорились встретиться на Белорусском вокзале. Они гуляли по улице Горького, потом Марик повел Аню в кафе. Впервые она ела мороженое за столиком, из вазочки, не рискуя закапать платье. Марик пытался ее заинтересовать рассказом о шахматных партиях и о том, что его товарищ однажды выиграл у Смылова. А Аня думала о том, почему все на них поглядывают: потому ли, что она такая интересная, или потому, что Марик такой рыжий?

Они еще несколько раз встречались на вокзале и гуляли по улице Горького. Но однажды Марик свернул в Благовещенский переулок и привел Аню в свою московскую квартиру. Аня очутилась в большой комнате с очень высоким, давно не беленым потолком. И эта, и другие две такие же комнаты были заставлены тяжелой массивной мебелью, целый угол занимали часы с огромным маятником и гирями, в беспорядке лежали книги, бумаги, футляры с чем-то тяжелым, пахло невыветрившимся лекарством, пылью и немывыми полами.

Бледный Марик попробовал говорить насчет любви. Аня молчала. Он спросил, можно ли ее поцеловать. Она не отодвинулась.

В ней зародилось волнение, но не от Марикиного поцелуя, а от необычных слов, от необычного обращения. Оказывается, были на свете слова, которых она ни от Вальки, ни от Кольки, ни от Мишки никогда не слышала. Оказалось, что «любовь» может быть без всяких откровенных призывов, без хохотка и без нахальства. Есть для этого дела какие-то тихие, приятные замашки, которых ни Мишка, ни Валька, ни Колька не знали, а этот рыжий невзрачный студентик знал.

И все-таки Аня никак не «загоралась». Пока Марик ее неуверенно ласкал, она искоса поглядывала на обстановку комнаты, такую для нее чужую и непривычную: набитую пылью резьбу на шкафу и буфете, исцарапанную, облупленную крышку пианино, дорогую, но очень тусклую посуду, пятна на узорном паркете.

– У вас что же, никто и не прибирается? – спросила она.

Студент думал только о любви. Не видя никакого ответного чувства с ее стороны, он робко осведомился:

– Почему ты меня отталкиваешь?..

– А где я тебя отталкиваю? – спокойно заметила Аня. – Я сижу и сижу.

Сраженный ее ответом, Марик не нашел, что сказать еще, и положил свою рыжую голову на ее теплые коленки.

«Ну как он сейчас заплачет? – подумала не лишенная жалости Аня. – Ну и чудной! – Она почувствовала, что грудь у Марика дрожит. – Вот пожалей, поддайся, а потом ребенок будет...»

Но, вопреки собственной же логике, она не встала и не ушла из этой чужой, не нравившейся ей, запущенной шубкинской квартиры.

Анина родня недоглядела, и «любовь» длилась до конца дачного сезона. Почти каждый вечер в квартире в Благовещенском переулке ненадолго зажигался и тут же гас свет. Потом поздняя электричка увозила Аню и Марика обратно в Кунцево.

Но если бы кто мог наблюдать эту пару, сидящую в почти пустом и плохо освещенном вагоне, тот понял бы, что это не влюбленные.

Аня сидела, отвернувшись к окну, чтобы не видеть студента, которого не любила и больше не хотела. Марик большим усилием воли заставлял себя что-то ей говорить. Влечение его еще не прошло, но Аня ни в чем не подогрела его нежность, не стала ему подружкой, и Марик уже боялся ее: она стала с ним груба и самого его вызывала на грубость. Хотя это было не в ее интересах: случилось то, что в те годы поправить было крайне трудно.

– Но я же женюсь, – виновато сказал Марик.

– Нужен ты!.. – шепнула Аня и заплакала.

Она и мысли не допускала, что сможет признаться во всем своей родне. Марик «раскололся» первым. Но рискнул сказать родителям только то, что он любит одну девушку...

– Теперь я понимаю, почему ты получил столько двоек, – сказала Раиса Захаровна Шубкина.

Несколькими днями позже Марик признался, что будет и ребенок.

– Не вы первые, не вы последние, – сказала лишенная предрассудков Шубкина. – На каком курсе эта девица?

– Она ни на каком... – И Марику пришлось рассказать все.

Мужество едва не покинуло Раису Захаровну. Она ушла в другую комнату, где старик Шубкин попробовал ее успокоить:

– В конце концов, девочке можно дать образование.

– Не говори глупостей! – уже трагически сказала жена. – Тебе скоро семьдесят лет. Кто ее будет учить, когда мы будем лежать в могиле? И еще надо, чтобы она хотела учиться.

...Аня действительно учиться не собиралась. Пока ей хватало тех шести классов, которые она окончила в деревне. Кино сейчас было звуковое, надписей читать нужды не было. К тому же Аня была достаточно бойка, схватчива, память на нужные слова и обороты у нее была отличная, так что никто бы и не догадался, что она не умеет правильно написать «до свидания» и на письмах к матери помечает: «Получить Доброхотовой Аны Платоновны».

Анина тетка узнала обо всем последняя. Минуя калитку, она перелезла на участок Шубкиных через забор и устроила скандал. Шубкины попросили ее успокоиться и сказали, что они ничего не имеют против, если только Аня любит их сына.

– Чего про любовь толковать, когда живот скоро на нос ползет, – уже спокойнее сказала Анина тетка. – Главное дело, вы ее пропишите.

Появилась в Кунцеве и Анина мать. В те годы тоже еще красивая и статная даже в толстом ватном пиджаке и в валенках с калошами.

– Что же это студент ваш устроил? – строго спросила она и скорбно покачала головой. – Девухе судьбу испортил. Разве хорошо?

Шубкины согласились: конечно, нехорошо.

– Нюрка ведь с ним жить не хочет, – продолжала мать. – Помогите ей на ребенка – и бог с вами. Не прокурору ж на вас жалиться?

Шубкины, пораженные, переглянулись. Аня стояла тут же и старалась на них не смотреть.

Вчера она действительно призналась матери, что не хочет идти в дом к Шубкиным: «жених» с товарищем в шахматы играет, про марки какие-то толкует. В квартире аптечным чем-то пахнет, а от этого запаха ей вообще тошно: что ни съест, все обратно.

– Да это, чай, пройдет, – заметила мать. – У всех так.

– Ничего не пройдет. Комнаты черные, коридор страшный. Одних зонтиков валяется штук восемь, а выйти не с чем – все сломанные. Едят все тертое, варят на пару, без соли. Старик больных на дом приводит, а «сама» анализы ему какие-то на стеклах делает. Прямо видеть не могу!.. Целый день руки моют, а грязи – через порог не перелезешь.

Анина мать пожала плечами.

– Так ведь грязь-то соскрести можно, дура! Пропишут тебя, площадь будет. А там разберешься со студентом со своим. Старики-то вроде вообще смиренные, чай, не будут тебя в горб-то колотить.

Но Аня плакала и не соглашалась.

– Они будут с книжками да с трубками со своими сидеть, а я чего между ними делать стану? К ним и на свадьбу-то никто не пойдет... А зачем я без свадьбы?

Про жениха Аня совсем не поминала, и мать, знававшая толк в любви, поняла, что девке этот рыжий студентик совсем ни к чему. Предпочитает лучше одна с ребенком остаться.

– Поняла я тебя насквозь, – с печалью заключила мать. – Ты хочешь родить да мне спихнуть. Это ты, милка моя, ловко придумала!..

Решено было, что Аня до декретного отпуска доработает на трикотажной фабрике, потом уедет к матери в деревню. Но, прожив около двух лет возле самой столицы и отведав всего того, чем она была богата, уезжать Аня отсюда

не захотела. Она была не первая и не последняя, кто родил и жил без мужа. Никого с ребенком из общежития на улицу не выгоняли, а даже наоборот, иногда давали отдельную комнату. У фабрики были свои детские ясли. Правда, носить в них детей было далеко, чуть ли не через весь поселок, но ноги-руки свои, молодые. А Шубкины со своей стороны заверили, что понесут материальную ответственность.

– Я боюсь вас уговаривать, – сказала Ане старуха Шубкина. – Я понимаю, что вам нужен совсем другой муж. Но что вы будете делать одна с ребенком?

После отъезда матери Аня немного приуныла, но потом узнала, что только по их цеху пойдут зимой в декрет пять матерей-одиночек, и немного успокоилась.

Один раз в цехе зашел разговор между пожилыми работницами: что же с девками делать? Декрет за декретом, а работать некому, и в яслях по двое ребят в одной кроватке лежат. В фабричном комитете мешок заявлений: одной – на коляску, другой – на пальтишко, и все ведь с государства!

На это одна из членов цехового комитета, женщина с безупречным семейным положением, сказала резонно:

– А кто же может запретить молодым женщинам иметь детей? Это их право, раз война оставила их без мужей.

Другая, старая, с медалью «За доблестный труд», не согласилась:

– А ихнее право ребят кидать да по кинам бегать? Дежурные в общежитии стоном стонут. Родила – так качай.

И Аня, став нечаянной свидетельницей этого разговора, покраснела и твердо решила, что уж она-то будет примерной матерью для своего первенца, будет заботиться о мальчике или о девочке. И все тогда скажут:

«Какая Анька Доброхотова молодец! Трудностей не испугалась. Таким и помогать-то приятно».

Когда пришел срок отправиться в родильный дом, Аню схватил страх. Она там так кричала, что качали головой выдавшие виды няньки и акушерки. На самом деле роды были очень легкие: Аня была очень здоровая, крепкая, полная сил. Не успела она откричаться, как к ней снова вернулся румянец. Но мальчик родился маленький, слабый и крупноносый, как и его отец.

Когда Аню выписали из родильного дома, в переулке стояла Раиса Захаровна Шубкина. Она хотела подойти, но Аня демонстративно прошла мимо нее в сопровождении двух подружек и сделала вид, что знать не знает, что за старуха такая.

Мальчика своего она принесла уже в семейное общежитие. И сразу почувствовала разницу: у девчат были по стенкам коврики с лебедями, открытки с красивыми артистами, салфеточки да флакончики, а тут – пеленки на веревках и на батареях, соки да горшки. В первый день Аню пожалели более взрослые мамы и помогли ей перепеленать ее Юру. Ане не пришлось в детстве нянчить ни братьев, ни сестер: она была у матери одна. И теперь из глаз ее выкатились две крупные слезы и упали крошечному сыну на красное лицо.

Жизнь стала тяжелой, беспокойной. Одиноким матерей выручало лишь чувство общей личной неудачи. Их было в комнате вместе с Аней шесть человек. Если не орал один ребенок, то пищал в это время другой. Крик и писк этот казались как будто бы естественными и не вызывали у матерей особого волнения. Света на ночь не гасили, и не стало четкой границы между днем и ночью, утром и вечером. Завешанная пеленками комната была больше похожа на больничную палату: дети попеременно или все сразу хворали. В эту комнату уже не заходили парни и избегали заходить и незамужние девчата.

В конце первой недели в общежитие пришла Раиса Захаровна Шубкина. Из всех комнат сбежались, чтобы на нее посмотреть.

– Анечка, вы, конечно, носите его в детскую консультацию? – робко спросила Шубкина, глядя на своего очень невзрачного внука.

– Сестра сама приходит. Вчера купать велела.

– А в чем же вы будете его купать?

– А вон таз...

Раиса Захаровна посмотрела на сомнительного вида оцинкованную шайку с двумя ручками, в которой были замочены какие-то тряпки. И замолчала. Она боялась обидеть Аню и других матерей, которые тоже, видимо, купали в этой шайке своих ребят. Уходя, она дала Ане деньги, завернутые в бумажку. Когда Шубкина ушла, деньги были пересчитаны.

– Скажи спасибо, на таких людей нарвалась, – сказали Ане товарки, – сами деньги приносят. Вот и купи корытце эмалированное. Еще и на конверт с кружевом останется.

Корытца эмалированного Аня не купила, обошлась и без конверта с кружевом. Ей очень хотелось купить высокие резиновые боты с молнией на боку. На остаток от шубкинских денег она угостила девчат кремовым тортом и для Юры взяла погремушку «Глобус».

Кончился послеродовой месяц, и Аня вышла в цех. По утрам, в полной темени, она несла Юру в ясли, завернув в тяжелое, плохо просыхающее сатиновое одеяло, купленное на «пособие по рождению». Вечером, когда свободные девчата шли в клуб смотреть трофейных «Королевских пиратов» или «Ты – мое счастье», Аня отправлялась опять в ясли за сыном, которого сама с легкой насмешкой называла Шубкин, хотя он записан был на ее собственную фамилию. Она исхудала, потому что Юра очень плохо спал ночью, ее мучило молоко, которое она не умела сцеживать, чтобы оставлять ему в запас на день.

Юре было месяца два с небольшим, когда Аня, последовав чьему-то совету, сварила ему в первый раз жидкой манной каши. Высосав целую бутылку этой каши, Юра в первый раз спал ночь без просыпа. Стало ясно, что раньше он просто был голодный, оттого его и нельзя было укачать.

Тогда Аня купила целый килограмм манки, стала варить ее погуще и кормила Юру уже с ложки. Это дело она теперь могла перепоручить кому-нибудь из товарок, поэтому Аня после трехмесячного перерыва помчалась в кино. Она сидела в темном зале рядом с каким-то незнакомым парнем, смотрела «Мелодии любви» и думать не думала о том, что побывала два месяца назад в роддоме, что у нее есть сын Юра, что каждую неделю появляется в общежитии патронажная сестра – посмотреть, не пытается ли она каким-то способом

избавиться от младенца, что раз в месяц приходит инспектор из собес и справляется у администрации, верно ли, что она, Аня, по-прежнему мать-одиночка и не зря ли получает она пособие от государства.

...Юра с манной каши сначала полнел, потом опять начал хиреть. Теперь, чем бы его ни накормили – молоком ли, кашей ли, соком, он все отрыгивал. После одного из посещений патронажной сестры его поместили в больницу. Аню вместе с ним не положили, поскольку она призналась, что грудью своего Юру почти не кормит. Она передала своего мальчика, вялого, некрасивого и – теперь уже очевидно – больного, в руки санитарке и тут же в приемном покое расплакалась. Пожилой фельдшер посмотрел на круглые, очень розовые Анины щеки и покачал головой.

– У него коклюш, что ли? – вытирая слезы, спросила Аня.

– Сама ты коклюш! Диспепсия у него.

Аня еще горше заплакала, хотя понятия не имела, что такое диспепсия. Но, вернувшись одна в общежитие, теперь уже на сухую койку, она вдруг испытала чувство огромного покоя, почти счастья: впереди были ночи, в которые можно было крепко поспать, не подниматься чуть свет, не лезть в трамвай с передней площадки с тяжелым плачущим свертком на руках, не стирать по вечерам пеленки, не мыть бутылки, не варить кашу. Уснув камнем, Аня забыла даже сцедить молоко, утром почувствовала сильную боль и испугалась. Но она так ничего и не сделала, чтобы убереечь молоко, и оно у нее в сутки перегорело.

С этой поры она спала сладко и беспросыпно. Но однажды все-таки проснулась среди ночи, разбуженная не детским, а взрослым плачем.

Горько плакала ее соседка, шофер Маруся, иступленно целуя лицо своей шестинедельной девочки. Всего пять дней назад эту Марусю выписали из больницы, изрезанную и зашитую. Всем на фабрике известно было, что родила она от завгара, который ничего знать не хотел. Девочка, в свои полтора месяца не весившая и трех килограммов, принесла своей матери-одиночке столько беды и боли, что дрогнула бы и взрослая баба. Но восемнадцатилетняя Маруся плакала лишь потому, что судьба не послала ей в достатке грудного молока. Купить его от другой матери не было средств, а прикормом Маруся боялась сгубить девочку, от избытка материнских чувств названную Элеонорой.

Аня со смутным страхом посмотрела на плачущую Марусю и подумала о своем Юре. Вдруг его там режут? Или колют?.. Потом накрылась с головой, чтобы ничего не слышать и не видеть.

Темным зимним вечером в общежитии опять появилась Раиса Захаровна Шубкина. Дежурная сказала ей, что Аня ушла в кино. Раиса Захаровна села внизу и стала ждать. Аня вернулась часу в одиннадцатом.

– Юрочке лучше, – сказала Шубкина. – Мы сделали что могли. Конечно, я понимаю, вы молодая, вам хочется развлечься...

Аня молчала. После кино и морозной улицы щеки у нее были удивительно розовые и свежие. Правда, кроме новых резиновых ботинок с молнией, на ней не было сейчас ничего шикарного, но она во всем была красива и отнюдь не жалка, как это могло бы быть в ее положении.

Из больницы, с согласия молодой матери, Юру привезли прямо к Шубкиным. Аню без особого труда удалось убедить, что Юре еще нужен уход, что в ясли его сейчас отдавать нельзя. В квартире в Благовещенском переулке за него принялись Раиса Захаровна и ее совсем старенькая сестра. Были уже без особой надобности вызваны детские врачи, и сам старик Шубкин советовался с кем-то по телефону. Для Юры освободили целую комнату, и нанятая специально для этого женщина ее отмыла и отскоблила, застелила всю мебель белой марлей.

Когда Аня пришла навестить сына, он лежал в кроватке, одетый в вязаную розовую кофточку. На его маленькой голове начали густо виться рыженькие волосы. Над кроваткой выстроилось все семейство Шубкиных. Аня просидела почти весь вечер молча и, накормленная маковым пирогом, ушла. Никто ее из этого дома не изгонял, но никто особенно и не приглашал.

– Переноси вещи да живи у них, – советовали Ане. – Не выгонят, не имеют права.

Аня и сама знала, что не выгнали бы. Но она понимала, что это было бы концом всему – молодой жизни, веселым часам. Оттуда уж в кино не побежишь. Хотя хозяева и смирные, а все-таки неудобно будет сидеть сложа руки. Не старуха же ночью к ребенку вставать будет, если мать рядом. А там привыкнут, что кто-то все делает, так и будут считать, что вроде так и надо. Главное же, нужно как-то и о дальнейшей жизни подумать – к ним в дом другого мужа не приведешь.

Позже Аня узнала, что Шубкины наняли какую-то пожилую даму, чтобы гулять с Юрой. Аня увидела эту даму возле Юриной коляски, страшно озябшую и тщетно пытающуюся закатить коляску в подъезд.

«Денег-то им девать некуда! – подумала Аня не без ревности. – Гулянье какое-то придумали. Кто же это за гулянье деньги отдает?»

В марте месяце вернулись большие холода, и Юрина «нянька» сбежала. Обрадованная Аня сама раза два вывезла Юру в скверик. Но, просидев с полчаса, поняла, что задаром никто на скамейке морозиться не станет.

– Летом нагуляется, – сказала она Шубкиным. – Летом в деревне золотое гулянье.

Раиса Захаровна переменилась в лице, но ничего не решилась сказать. Весной приехала из деревни Анина мать, и они обе отправились к Шубкиным смотреть Юру. Приняли их там хорошо, но трясась от страха. Анина мать вроде и не старела, оставалась крупной, видной пожилой бабой, каждый жест которой, каждый взгляд, вся ее повадка говорили: что наше, то уж наше!

– Спасибо большое вам за воспитание, – сказала Анина мать. – Мальчик-от пусть уж до лета у вас побудет. С Пасхи у меня корова доить будет.

Шубкины еще раз ужаснулись и стали жить надеждой только на какой-нибудь счастливый случай. Но то ли деревенской бабушке не приглянулся внук, то ли она решила, что надо ей, прежде чем у люльки сесть, доработать в колхозе до пенсии, но срок Юриногo отлучения от Шубкиных все откладывался.

Аня перешла в общежитие для одиночек и опять числилась в девушках. Но, несмотря на свой жаркий румянец, на свои живые голубые глаза, на все платья, которые она теперь себе нашла, она и к двадцати годам не нашла жениха, не нашла и к двадцати одному, и к двадцати двум годам. Все оказалось непросто... Расплатившись один раз за свою ошибку, Аня осторожничала и парням ни на какие уступки не шла. Почти в каждом виде она теперь обманщика, который только и смотрит, чтобы «интерес свой исполнить». Не забыла она и того, как культурно вел себя с ней Марик в начале их романа. Хоть он был и рыжий и носатый, но ни матерщины, ни грубости от него Аня не видала.

Теперь она вся была настороже: чтобы опять не поступить по-глупому, опрометчиво, но чтобы и не прозевать своего счастья. От этой заботы Аня стала не по годам взрослеть и утрачивать всю девичью непосредственность. К двадцати пяти годам она уже выглядела не девушкой, а скорее одинокой красивой молодой женщиной.

К этому же времени Аня перешла работать на большую кондитерскую фабрику. Здесь и работа была чище, и общежитие богаче, а главное – она сладкое очень любила, просто бредила им. Первое время так и жила – с конфетой или с куском шоколада за щекой. Утром, подойдя к воротам фабрики, жадно вдыхала в себя запах ванили и улыбалась.

Поначалу никто здесь про нее ничего не знал. Но, чтобы не платить налога за бездетность, Ане пришлось предъявить в бухгалтерию свою книжку матери-одиночки. Уже через две смены и в цехе узнали, что новенькая – незамужняя вдова. Но Аня не растерялась и сразу избрала тактику: стала держаться любящей матерью, хвасталась покупками для своего мальчика и жаловалась на то, что свекровь не умеет его воспитывать, балует и что, как только будет возможность, она Юру от Шубкиных заберет и сама им займется.

– Буквы уже знает, – рассказывала Аня про своего Юру с такой гордостью, будто сама его по этим буквам обучила. – «Маму» из кубиков складывает.

По праздникам Аня получала для сына хорошие подарки от фабричного комитета, билеты на новогоднюю елку. Как-то раз, несмотря на протесты Шубкиных, боявшихся инфекции гриппа, она привела Юру на детский праздник в клуб фабрики. Дети кричали, бегали, а он сидел тихо, очень серьезный, рыженький и хорошо одетый. И вдруг вызвался прочитать стихотворение «Плывет, плывет кораблик, кораблик золотой...». Он ни разу не сбился, дочитал до конца, и дети притихли, когда его слушали.

Аня, пока сын «выступал», сидела гордая, розовая, красивая и держала в руках Юрину меховую шубку на шелковой подкладке. И эта шубка, и все другое, надетое на Юру, куплено было не ею, но это сейчас никому и в голову не приходило: такой счастливый, независимый вид был у Ани, которая и сама теперь была очень хорошо одета. Карамельный цех, где она работала, экономил ей деньги: тут было и сгущенное молоко, и жидкий шоколад, и мед. Сначала она всего этого съедала помногу, потом поменьше, а дальше – ровно столько, чтобы быть сытой и своих денег на питание почти не тратить. Когда ей выдался случай

купить дорогое пальто с воротником, она заняла у стариков Шубкиных тысячу рублей, но с отдачей не очень спешила. Она знала, что они сами не спросят.

...Когда утренник кончился, Аня вывела Юру на улицу, и тут они увидели бабушку Шубкину. Она принесла запасный шерстяной платок. Юру закутали им поверх шапки и повели домой.

– Юрик стихи рассказывал, – благодушно сообщила Аня.

Раиса Захаровна взглянула на нее с благодарностью, словно Аня выучила Юрика этим стихам.

– Вы, может быть, зайдете к нам? – спросила она.

– Да нет уж, сегодня не пойду, – сказала Аня. – Дела у меня много: выходной-то один.

Однажды, явившись к Шубкиным в необычное время, она нарвалась на Марика. Тот уже заканчивал аспирантуру и жил в каком-то городке для ученых. Когда Аня вошла в комнату, Марик одним пальцем играл для Юры «Чижика» на пианино.

Аня не смутилась. Но ей показалось, что Марик стал не такой уж рыжий, как прежде. И на возмужавшем, пополневшем его лице нос не выглядел таким большим. Он, видимо, знал, какая тревожная ситуация была в семье у его родителей, как их мучает будущее Юры, как они боятся Ани. Самому ему, по всей видимости, жилось неплохо: на нем был хороший костюм, в передней на вешалке висели куртка на меху и ондатровая шапка.

«А ведь это мог муж мне быть», – подумала Аня вдруг, испытав досадливое чувство: неужели прогадала?

Но Марик поздоровался с ней достаточно холодно.

– Как ты живешь? – спросил он.

– Хорошо, – спокойно ответила Аня.

– Ну и прекрасно.

Старуха Шубкина пригласила за стол. Она очень суетилась, подавала, принимала, что-то уронила и разбила. Ее совсем старенькая сестра поила чаем Юру, тот был рад обществу и баловался. А Аня сидела как гостья.

За чаем она поймала на себе пристальный взгляд Марика. Видимо, он сравнивал ту хорошенькую щекастую девчонку, которая по глупости и любопытству сошлась с ним пять лет назад, с той мужественно крепкой, ярко одетой женщиной, которая сейчас сидела напротив него и довольно умело держала в белых пальцах дорогую фарфоровую чашку.

«Может, он все-таки опять на меня располагает?» – уже тревожно думала Аня.

Но она ошибалась. Когда она собралась уходить, Марик вышел за ней в переднюю и сказал сухо, почти резко:

– Если любишь ребенка, возьми его отсюда совсем. Или не ходи сюда. Зачем ты мучаешь людей?

– Да они сами не отдают, – резко сказала Аня.

Ее вдруг одолела такая злость, что она, уже одетая в пальто и ботинки, вернулась в комнату и крикнула:

– Юрочка, я в субботу за тобой приду!

Старуха Шубкина так и охнула:

– Марк, что ты ей такое сказал? Вы не жалеете ребенка!..

Весной внезапно умер старик Шубкин. Ане сообщили об этом на фабрику. Как все деревенские жители, очень отзывчивая на смерти и болезни, она бросила все дела и побежала к Шубкиным.

– Говорите, что поделывать надо, – сказала она, входя в квартиру.

Раиса Захаровна ломала ручки и говорила что-то несвязное. У ее сестры дрожала голова. Юра капризничал. А Марик еще не успел приехать.

Не дожидаясь распоряжений, Аня ликвидировала страшный разгром в кухне, собрала все Юрины игрушки и дочиста вымела в комнатах. Потом сбегала в магазин, купила мяса, сварила суп и заставила старух и Юру поесть.

– Вещи соберите, я в больницу снесу, покойничка нашего одеть.

Выяснилось, что нет ни одной пары чистого белья. Аня быстренько постирала, посушила над газом, выгладила горячим утюгом.

– Сколько народу перелечил, а крепкой рубашки нету!..

Аня не отличалась особым тактом, но на этот раз искренне хотела помочь. В первый раз она осталась ночевать в этой квартире. До позднего часа она просидела возле Раисы Захаровны, а маленький Юра уснул у нее на коленях.

– Как живой лежит, – рассказывала Аня, уже видевшая «собранного» и положенного в гроб старика Шубкина. – Что значит в одночасье человек умер! Не учился. Я отгул возьму, все сделаем как следует, проводим, помянем.

Два дня Аня бегала, покупала, убирала, варила. Никогда еще в квартире у Шубкиных не было такой чистоты и порядка: старухи в последнее время справлялись совсем плохо.

Маленький Юра был очень удивлен: почему мама теперь все время здесь? Он привык, что она являлась иногда по субботам с гостинцами, которые бабушка Шубкина умоляла не давать все сразу. А теперь эта мама, подвязав бабушкин фартук, ходит по комнатам со щеткой и тряпкой. У нее озабоченное, строгое лицо. Она готовит, моет, что-то перестилает и внушительно говорит плачущей бабушке:

– Не плачайте, Раиса Захаровна! Хватит. Вот понесут, тогда еще поплачете.

Юра потянул мать за фартук и спросил:

– Мама, а чей у нас будет день рождения?

– Ничей! – строго ответила Аня. – Дедушка у тебя помер, не понимаешь, что ли? Сиди, не балуйся.

К дню похорон появился бледный Марик. С ним приехала незнакомая Ане хорошенькая, худенькая и очень модная девица. Аня поняла, что это или невеста, или уже жена Марика. Но не смутилась.

Видимо, старуха Шубкина рассказала сыну, как много сделала для них в эти дни Аня. Он и сам заметил в комнатах необычный порядок и сдержанно Аню поблагодарил.

А его невеста или жена просто приняла ее за приходящую домработницу. У Ани хватило самообладания, чтобы и ухом не повести. Но Юра подбежал к ней и назвал мамой. И произошло замешательство: невеста или жена Марика побледнела и растерялась.

Тогда Аня решила расставить все точки над і. Она подала маленькому Юре какой-то журнал и громко велела:

– Снеси папе. Скажи: «Давай, папа, картинки поглядим».

Про себя же решила: «Пусть знает. На похоронах уж, наверное, ругаться между собой не станут».

Похороны и поминки действительно прошли достойно. Со стороны можно было предположить, что старика Шубкина оплакивает единая дружная семья. Аня вела себя с достоинством, немножко поплакала. И если Марикова девица как будто боялась подойти к гробу, то Аня подошла смело и даже приложила покойнику к руке.

После поминок Аня перемыла всю посуду, подтерла в кухне пол и отозвала туда Марика.

– Юру я уж теперь увезу, – сказала она. – А вы поимейте совесть позаботиться о старухах-то.

Марик вздрогнул от удивления: как это она позволяет себе лезть не в свое дело?.. Но тут же решил не обострять отношений. Он понимал, что основания для претензий к нему были и у Ани.

В самом начале лета Аня увезла Юру в деревню. Ему уже шел пятый год. Он был крупный, сообразительный и достаточно набалованный. И хотя был взволнован и счастлив тем, что его куда-то далеко везут, но его очень насторожило то, что обе бабушки Шубкины рыдают, а мама не особенно старается их утешить.

Электрички ходили тогда только до Загорска. И Аня с сыном села в ночной поезд Москва – Котлас, набитый пассажирами до самой багажной полки. Юра не спал. Затиснутый матерью куда-то наверх, он с безмолвным и тревожным любопытством глядел то вниз, на спящих, то в темное окно. Он так и задремал сидя, и в четыре часа утра Аня сняла его оттуда, обмякшего, сонного и тяжелого, отвела в грязную уборную, потом надела на него пальтишко и панамку, поставила в тамбуре, а сама принялась таскать вещи.

Их встретила деревенская бабушка, после маленьких старушек Шубкиных показавшаяся Юре страшно толстой. Она долго чмокала его в щеки и в рыжую макушку, хотя он недоброжелательно крутил головой. Потом мать и бабушка взвалили себе на плечи восемь тяжелых «мест» и бодро пошли по скользкой от росы тропе между мокрых калиновых кустов.

Юра угрюмо шел за ними, потом заявил:

– Я устал!..

– Ничего, Юрочка, бежи, бежи! – почти не оглянувшись, сказала Аня.

Но он заплакал, сел на траву и не хотел вставать. Тогда бабка отдала Ане еще два «места», посадила Юру себе на одну руку, другой ухватила тяжелый деревянный чемодан, и они пошли дальше, но уже не так прытко.

– Важкий мальчик-то какой! – задохнувшись, сказала бабка. – Хунтов сорок, чай.

Юра поглядел в ее красное, с двумя подбородками, лицо, на котором, как сироп через бумагу, проступал теплый пот, и тихо сказал:

– Пусти, я сам буду идти.

Дома бабка выставила перед гостями студень, кисель и красивые пироги. Юра схватил пирог, но когда откусил, то сначала растерянно скривил рот, а потом тоскливо заплакал: в пироге был мокрый, пахнувший постным маслом зеленый лук.

– Эко что же они поделали над ребенком? – удивилась бабка. – Не ест ничего. Куда же ты мне такого привезла?

Но перерешать что-то было поздно. Аня провела несколько дней с сыном, потом ранним утром, пока Юра еще спал, она ушла на станцию. Мать проводила ее до калитки и легла рядом с внуком, чтобы тот, проснувшись, не испугался. Но все равно Юра долго ревел и не мог понять, как же его так предали. И только последовавшее разрешение идти на улицу босиком, не умываться и есть с утра конфеты его немного успокоило. Он заметил, что и бабушка за компанию с ним не стала умываться и утренний чай пила тоже не с сахаром, а с конфетами.

В огороде она дала ему съесть невытую бледно-розовую морковку, потом нарвала ему стручки гороха, в которых еще совсем не завязалось зернышко.

– Надо руки мыть? – спросил Юра, когда ладони его стали совсем черные.

– А вон ступай помой. – И бабка указала на кадушку, где стояла пахучая зеленая водица.

Юра начал болтать в этой кадушке руками, взмутил со дна всю грязь и в первый раз ощутил, что он уже в чем-то счастлив. И когда бабушка, грузно усевшись у бани на лужке, позвала его к себе и посадила на коленки, Юра пошел на сближение.

– Расскажи, пожалуйста, сказку, – попросил он.

– Какую же тебе сказку? – вздохнула бабка. – Ты, чай, сам боле моего знаешь сказок-то: у ученых жил.

...Дней через десять Аня получила от матери письмо: «Все у нас с Юрочкой хорошо. Сперва все плакал, а теперь подряд все кушает, молоко с чаем пьет, только на ночь не пою, а то обое с ним спим крепко. Пошли нам макарон белых или вермишели...»

И Аня знала: мать ворчуха и шепотница, но внука не обидит, потому что не чужой, а своя кровь, единственный пока дочкин ребенок.

Лето, после того как Аня отвезла Юру к матери, было у нее совсем вольное. Раза два она навестила старуху Шубкину, впавшую в отчаяние от одиночества.

- Знаете, Анечка, каждую ночь я вижу Юрочку во сне, как я надеваю на него ботиночки, как веду мыть руки... Я не столько тоскую о покойном муже. Мы, Анечка, с сестрой совсем одни. Марк почти ничего не пишет.

Аня дала Шубкиной свой телефон на работе и просила, если нужно будет в чем-то помочь, чтобы та звонила без стеснения – она придет, все сделает.

- Только уж насчет долга вы меня извините, Раиса Захаровна...

Аня так и не вернула той тысячи рублей, которую брала займы на пальто. Но Шубкина только замахала руками:

- Не поминайте, пожалуйста, про эти деньги!

Провожая Аню, она глядела ей в рот: не скажет ли она еще чего-нибудь об Юрочке, не пообещает ли осенью вернуть его обратно? И отказываясь от денег, старуха рассчитывала, что Аня не догадается, что средств прежних нет, что нет сил, очень плохо с сердцем и что Марк под влиянием своей новой жены отрешивается от всяких обязанностей по отношению к сыну.

- Я купила для Юрочки витамины, – сказала Раиса Захаровна. – Может быть, вы сможете переслать?

- Давайте, – великодушно согласилась Аня.

Она ушла, троекратно облобызав свою несостоявшуюся свекровь, довольная собой, даже умиленная. При своей силе и ловкости Аня в один час переделала в квартире Шубкиных столько, сколько старухам не сделать бы в неделю. Но Шубкина не хотела принимать услуг даром и подарила Ане какую-то брошку. Аня думала, что она пустяковая, но от сведущих людей узнала, что это камень. За эту камею она еще несколько раз приходила помочь, повидаться, поговорить о Юрочке. Потом стала заглядывать реже, закрутилась и месяца два не собралась пойти. На московских улицах уже лежал снежок, когда Ане сообщили по телефону на работу, что Раиса Захаровна Шубкина скоропостижно умерла.

Как Аня рыдала!.. Шубкины – это была ее молодость, ее первое несуразное увлечение. Это были люди, которых она не любила, но тем не менее понимала, что они отнеслись к ней по-человечески и очень любили ее сына. Она вспомнила старика-тихоню Шубкина, который никогда не сказал ей ни единого недоброго слова и никогда не отказывался давать медицинские советы и выписывать рецепты ее многочисленной деревенской родне. Она вспоминала Раису Захаровну, ее подарки за каждую услугу, ее робкие заискивания из-за Юры. Вспоминала большую, нескладную, неуютную квартиру в Благовещенском переулке с пыльными люстрами и изъеденными молью коврами, шкафами, бумагами и книгами, которую слабые руки двух старух тщетно пытались привести в божеский вид.

Неловко было и то, что свой тысячный долг Аня им так и не вернула. И теперь, собираясь на похороны, она не пожалела сотни рублей и купила большой венок с железными листьями и коленкоровыми цветами.

...Весной Аня наведальась в деревню. Юра успел вырасти, охрипнуть голосом и выучить такие слова, которых он у Шубкиных никогда не слышал. Аня застала сына на крыше сарая. Юра ломал пирог, кусал сам и кидал вниз петуху. Увидев мать, нарядную, с сумкой гостинцев, проворно слез с крыши и, шлепая босыми темными пятками по холодной еще земле, подбежал к ней.

– Юрочка! – удивленно сказала Аня. – Какой ты большой-то стал!..

Весь вечер Юра ел гостинцы. Мать и бабушка глядели на него и улыбались.

– Он на ихнюю породу-то и не похож, – сказала «баба Нюха», уже слышавшая от Ани, что московская ее «сватья» умерла.

Но Юра был все-таки похож на шубкинскую породу. Может быть, поэтому бабка и считала нужным это время от времени опровергать. Аня погладила сына по рыжей голове и дала ему еще горсть конфет-драже. Про бабушку Шубкину она ему ничего не сказала.

4

Через год в жизни Ани произошли существенные перемены. Началось с того, что на фабрике ее вовлекли в общественную работу. И она довольно быстро обнаружила в себе большие способности к этому делу.

Поначалу ее выбрали страховым делегатом по своей смене. Лишенная домашних забот, Аня не отказывалась сбегать то в больницу, то к кому-нибудь из болящих на квартиру. Других страхделегатов бюллетенившие работницы побаивались: обследует, да и донесет, что нарушается постельный режим, больная с температурой стирает белье. Но Аню никто не боялся. Она если обнаруживала такое нарушение, то только отгоняла больную от корыта, достирывала сама, а в страховом комитете никогда ни гу-гу. Знала она теперь и адреса всех больниц, и где когда посетительский час. Ее даже больничные няньки стали узнавать.

Очень скоро Аня поняла, что выгодно быть хорошей и что авторитет – это великое дело. Раньше она всем была Нюрка, Анька, а теперь Аня, Аня дорогая!.. Производственницей была и раньше, считалась не хуже других, но как-то все оставалась в тени. А тут один раз получила премию, другой раз – премию, потом – благодарность в приказе. Как-то подошла к ней председательница цехового комитета и сказала:

– Анечка, съезди в однодневный дом отдыха в Сокольники. Ты уж набегалась, отдохни, путевка тебе бесплатная.

Ближе к зиме вызвал и начальник цеха.

– У тебя, Доброхотова, есть шанс на будущий год комнату получить.

Комната эта была Ане очень нужна. До сих пор жила она в общежитии для одиночек и тяготилась этим. За пять лет работы на кондитерской фабрике нажила себе порядочное приданое, а повесить и положить свои вещи было

просто некуда. Надоело и то, что всегда ты у всех на глазах и все у тебя на глазах. И всегда есть опасность, что из-за пустяка может получиться ссора. Аня стала большой чистехой, аккуратницей, а общежитие есть общежитие: одна юбку швырнет, другая тарелку немытую оставит, третья – совсем халда, все вокруг себя роняет. Каждому свою голову и свои руки не приставишь, и вообще жизнь табуном годится только для самых молодых, которым все трын-трава. А когда чувствуешь себя солидно и самостоятельно, такая жизнь уже не может удовлетворить.

Необыкновенно приятно было теперь Ане и то, что о ней позаботился сам начальник цеха, который с год назад ее вроде бы и знать не знал: работниц в карамельном цехе было около четырехсот человек, разве всех запомнишь? А сейчас Аня сидела у него в кабинете, и он смотрел на нее, такую красивую, пышноволосяную, с марлевой наколкой на голове. Халат на ней был белоснежный и отглаженный. Аня располнела немного, но тяготилась этим только потому, что кое-что из одежды стало ей узко. А так она знала, что многим мужчинам нравится такой пухленькой. Возможно, и сам начальник цеха не отказался бы поухаживать.

Но с женатыми мужчинами Аня по-прежнему была осторожна, а для парней она уже была не невеста: почти двадцать шесть лет и в паспорте сын Юра.

Страждегатские обязанности и привели Аню к замужеству. Одна из ее товарок, карамельщица Лида Дядькина, получила бытовую травму – ошпарила руку и ногу из электрического чайника. В больнице ее долго не задержали, чуть ожоги подсохли, отпустили домой. Жила она в районе Ямских улиц, и Аня отправилась ее навестить.

Нашла квартиру, позвонила. Открыл какой-то мужчина невысокого роста. Лица его Аня в темноте коридора даже не разглядела. Оказалось, что это сосед, а сама «пострадавшая» ушла в поликлинику на перевязку. Аня села подождать ее на кухне. Невысокий мужчина прошел мимо с чайником и сказал:

– Зайдите в комнату ко мне, а то тут с черного хода дует.

Аня, считавшая, что ей стесняться не приходится, поскольку она лицо полномочное и представительное, отказываться не стала и пошла.

Комната ей очень понравилась: диван хороший, стол под скатертью, на окошке красивые цветы. Книжки стоят, картинки висят. Но сам хозяин комнаты не очень интересный. Все время держится как-то боком. Аня все-таки рассмотрела, что левый глаз у него какой-то странный и щека под ним не гладкая, а бугристая, красноватая. Одет он был в черную рубашку со светлым галстуком, и брюки у него очень хорошо держали складку, будто только что с гладильной доски. Но волосы на голове были белесые, прямые, реденькие.

Аня молчаливостью не отличалась. Начала с того, что заговорила о своем общественном поручении.

– Доброе дело делаете, – сказал хозяин комнаты и рискнул повернуться к Ане всем своим неказистым лицом. – Как имя и отчество ваше?

Поговорили кое о чем, а тут пришла из поликлиники «ошпаренная» Лида Дядькина. Взбираясь на пятый этаж без лифта, чуть не ревела, но увидела в квартире Аню – обрадовалась, стала хохотать и рассказывать, как у нее собрались девчонки, танцевали и добесились до того, что повалились на диван и потащили за собой шнур от электрического чайника.

– Ой, ты не представляешь, Аня, до чего я на них зла!.. Ведь они мне недели на три нетрудоспособность устроили!

Левая нога у Лиды была страшно толстая, в сто слоев обмотанная бинтами. Так же и правая рука до кисти, только кончики облитых марганцовкой пальцев торчат наружу.

– Садись, Анечка. Тут мне парень один соленых помидоров принес, он на овощебазе работает. Вот, ешь котлеты, девки принесли, задобрить хотят. Новый год на носу, а у меня комната, ну и, ты понимаешь, все ко мне. А мне сейчас эти танцы как собаке здрасте!..

– Да не таракти ты, ненормальная! – приказала Аня. – Говори, что тебе сделать надо. Может, в аптеку или куда?

Лида хохотала и слушать не хотела.

– Аня, ты меня не выдашь? Я вчера с парнем одним в Дом культуры «Правды» проперлась. Билетов не было, а он контролерше говорит: «Посмотрите, ведь девушка – инвалид!..» Ну и пропустили. Симону Синьоре видели.

Аня решила спросить:

– Слушай, а кто это сосед твой?

– Николай Егорович, что ли? Да он мастером на номерном заводе работает. А что, он, наверное, жаловался, что у Дядькиной шуму очень много?

Аня покачала головой.

– Глаза у него какие-то разные...

– Один свой, другой стеклянный. Так он ничего мужик. Кушаков-то. Культурный. Книжки читает. И невесту культурную ищет.

Лиде и в голову не приходило, что такая видная женщина, как Аня, может заинтересоваться Николаем Егоровичем Кушаковым: тому уже лет немало, рост всего метр шестьдесят четыре, глаза нет. Только что пальто с каракулем.

– Аня, ты не представляешь, как мне все-таки охота за семилетку сдать! Пошла бы в техникум. А то кому я такая нужна? Сейчас все ученые, все с дипломами!

Через три дня Аня принесла Лиде деньги по листку нетрудоспособности и опять встретилась в коридоре с Николаем Егоровичем.

– Здравствуйте!..

– Добрый вечер, – тихо и любезно сказал Кушаков.

Лида уже угадала в Ане определенную заинтересованность и крикнула:

– Николай Егорович, идите к нам чай пить!

В первый раз Лидин сосед от приглашения отказался. Но когда Аня зашла еще и еще раз, он сдался, пришел и сел с Аней рядом. Она чувствовала, что Лида ему уже о чем-то намекнула. Николай Егорович сидел слева от Ани, ближе к ней своим здоровым глазом, но все равно она видела и другой, неживой, более темный, устремленный все время в одну точку.

- Что бы вам с Аней познакомиться поближе, а, Николай Егорович? - уже в открытую шла Лида. - Она у нас хорошая, общественница.

Николай Егорович робко посмотрел на Аню и сказал тихо:

- Очень буду рад.

Потом Лида нарочно оставила их на время вдвоем, убежала куда-то, припадая на плохо заживающую ногу.

- Пойдемте завтра в театр, - предложил Николай Егорович.

- В какой? - волнуясь, спросила Аня.

Она чувствовала, что пришла ее пора.

За один месяц они с Николаем Егоровичем посмотрели «На дне», «Порт-Артур», «Закон Ликурга» и «Барабанщицу». Ане все очень нравилось. Но особенно ее привлекал Театр Советской армии: места удобные, помещение замечательное, публика солидная и спектакли более понятные, чем в других театрах.

Все стало непривычно и тревожно. Днем Аня ждала, что Николай Егорович позвонит ей на работу, скажет, куда взял билеты. Потом они встретятся где-нибудь поблизости от Аниного общежития, сядут в троллейбус, он ей высмотрит место, а сам будет стоять около нее. В гардеробе он подержит ей пальто, примет от нее ботики и сразу предложит пойти в буфет: может быть, она после работы не успела покушать? Аня вежливо откажется, они пойдут в партер, сядут в мягкие кресла ряду в десятом - в одиннадцатом, и Николай Егорович тихонько положит ей в руку шоколад. Он все забывает, что она этот шоколад видеть не хочет. В буфет они пойдут в антракте, он там ей купит бутерброды и фрукты, а домой свезет в такси.

Аня уже твердо решила, что выйдет замуж за Николая Егоровича Кушакова. Такого хорошего, вежливого человека вряд ли еще встретишь. Другой уж к тридцати шести годам таких дров наломал! Действительно, Николай Егорович хотя и был человек тихий, внешне незаметный, но держался очень мужественно. Вставной глаз его был страшноват, но к этому можно было привыкнуть. Зато очень хороши были у него зубы, рот был добрый, нос правильный, хороший. Аня очень не любила курносых и губастых.

«Чего уж это я изображать из себя буду? – думала Аня. – Пойду сегодня к нему. Неужели потом бросит?..»

В этот вечер они смотрели какой-то спектакль из мирной армейской жизни. Названия Аня не запомнила, потому что очень волновалась. Она ничем не намекнула Николаю Егоровичу, что согласна на сближение с ним, но он сам все понял. Оба сидели в троллейбусе, опустив глаза.

– Ты открой, посмотри, нет ли кого в коридоре, – сказала Аня, когда они поднялись на пятый этаж.

Обращением на «ты» она как бы окончательно все решила. И уже меньше волнуясь, вошла за Николаем Егоровичем в его комнату с книжками и цветами на темных окнах. Он помог ей раздеться, потом сам снял свое серое драповое пальто с каракулевым воротником. Одевался он хорошо, но даже Аня заметила, что мог бы одеваться немножко и помоднее для своего возраста, с фантазией, и не носить того, что на многих.

– Жалеть не будешь? – тихо спросил Николай Егорович, когда они оказались лицом к лицу.

– А ты так поступай, чтобы я не жалела, – сказала Аня.

В маленьком Николае Егоровиче она нашла человека ласкового и благодарного. И исполнилась ответного чувства.

Через неделю Аня объявила в цехе:

– Замуж я выхожу, девочки! Правда, на десять лет почти он старше меня, но три ордена у него.

Лида Дядькина, невольная пособница этого брака, рассказывала всем:

– Вы не представляете, девчата, как этот Кушаков в Аньку нашу влюблен! Такого тихонького из себя изображал, по вечерам все дома торчал, и вот попался!

Никто так и не узнал, что именно «изображал» из себя Николай Егорович. Сама Аня уже позже догадалась, что ее муж просто в свое время, будучи холостым, не оказал Лиде мужского внимания. И сознание того, что Николай Егорович предпочел ее, двадцатилетнюю мать-одиночку, совсем молоденькой и бездетной Лиде, заставляло Аню гордиться собой, своей солидностью, своим серьезным и ответственным характером. Но Лиде Дядькиной она решила не слишком доверять и в комнату к ней мужа одного не пускала.

– Не дождалась ты комнаты, Доброхотова, – сказал начальник цеха, узнав, что Аня уже перебралась из общежития к мужу. – Ну ничего, мы тебе отдельную квартиру со временем дадим.

На Восьмое марта Аня привела Николая Егоровича с собой на фабрику, на вечер. На нем был темный костюм с орденской колодкой, рубашка с твердым белым воротничком. Всем он очень понравился, все сделали вид, что и не заметили его разных глаз. Швы на щеке Аня ему немножко запудрила и соорудила из его светлых вялых волос подобие модной мужской стрижки.

– Ты, Коля, улыбайся почаще, – посоветовала она, – тебе улыбка очень идет.

Теперь вместе с замужеством к Ане пришел новый интерес – театр. Больные и пенсионеры ей уже порядком поднадоели, и она попросила, чтобы ее с соцбытсектора перекинули на культуру. Сама она с Николаем Егоровичем каждую неделю регулярно ходила в театр. На следующий день после спектакля, стоя за аппаратом, из которого ползли завернутые в бумажку карамели, Аня пересказывала своим подругам содержание спектакля. Правда, у нее получалось так, что все до единой пьесы держались на остролюбивной ситуации. Даже «Оптимистическая трагедия». Но тем большим успехом пользовались у карамельщиц эти пересказы.

– Ты бы, Аня, и нас сводила на эту постановку. Организовала бы.

– Да обязательно организую, – обещала Аня. – Нельзя же, девочки!.. Так театр много дает!

Благодаря Ане карамельщицы ходили на «Марию Тюдор», на «Квадратуру круга», на «Жизель». Накануне советовались, кто что на себя наденет, чтобы друг друга не повторить и в то же время исходя из реальных возможностей каждой.

Потом дело было поставлено и вовсе на широкую ногу. Аня завела надежный блат в Центральной билетной кассе и не ленилась бегать туда после работы с заявками на коллективный просмотр. И так как не всем работницам театр был по карману, то иногда брали курс на кино.

Аню даже обижало, если кто-то из девчат увивал от коллективных посещений: «А я с Витькой пойду...», «А я с Сережкой была...»

– Девочки, я просто вас не понимаю!.. По-моему, совершенно все по-другому воспринимаешь, когда в коллективе смотришь. Кому-то что-то непонятно осталось, потом можно обсудить. А от Сережки да от Витьки какое вы разъяснение получите?

Ей самой уже и в голову не приходило идти со своим Колей один на один, забраться в угол да жаться там колено о колено. Аня теперь предпочитала идти культурно, одевшись как следует, на сеанс 7 часов 30 минут, сесть в том ряду, где сидят свои же работницы, чтобы каждая поздоровалась с ее мужем и сказала ему: «Это все ваша Аня для нас старается».

Увлечение зрелищами сменилось увлечением дружескими посиделками. Переписали весь цех, когда у кого день рождения, и обязательно после работы чем-нибудь отмечали. Выход на пенсию – тоже. Бракосочетания – особенно. Конечно, без всяких крупных пьянок, Аня бы на это никогда не пошла. Но учинялась какая-то добрая и, в общем, полезная суетня, роднились между собой сердца женщин, и Аниному тщеславному сердцу была от этого особенно большая радость. Она и подарки покупала, и поздравительное слово говорила. И это получалось у нее и складно, и очень тепло.

– Какая культурная женщина Анна Александровна! – сказала про Аню одна молоденькая работница, недавно из учениц.

Девочка эта и не представляла, что у «культурной женщины» всего-то шесть классов образования и, заставь ее на бумаге написать те слова, которые она так бойко говорит, ей бы очень туго пришлось. Да Аня и сама теперь уже достаточно остро чувствовала (как, наверное, Николай Егорович – отсутствие глаза), что образования ей не хватает – она бы в коллективе сильно продвинулась.

– Упустила я свои возможности, Коля, – сказала она как-то мужу. – Мне бы при матери хоть классов восемь закончить. Дура была!..

– Возьми да поумней, – посоветовал Николай Егорович.

– Шутишь! Это какой смех будет, если я за детскую парту сяду: во мне без малого восемьдесят килограмм!

– Туда не с весу берут, – усмехнулся Николай Егорович. – Потом вовсе отяжелеешь.

Так, с усмешкой да с подначкой, Аня почти решила, что с осени пойдет в седьмой класс вечерней школы. Написано было письмо в деревню, чтобы прислали справку за шесть классов. Николай Егорович купил для Ани учебник по алгебре, «Зоологию», «Историю Средних веков». Заправил две авторучки и положил все на видное место – может, захочет позаниматься, подготовиться. Но Аня обходила учебники, как лиса петлю с приманкой. Кончилось тем, что Николай Егорович на досуге сам читал «Зоологию» и «Историю Средних веков».

– Война Алой и Белой розы, – заметил он, слышав, как ссорятся в коридоре соседки.

Аня его замечания не оценила.

– Прочел свои «средние веки» – ну и убери, – сказала она. – Чего они будут лежать?

Этим она как бы хотела сказать, что вечерняя школа – это еще пока вилами на воде писано. Николай Егорович надоедать ей не стал. Только ближе к началу нового учебного года все-таки спросил:

– Форму-то школьную тебе покупать?

Аня глубоко вздохнула:

– Ох, Коля!.. Не знаю, что и сказать тебе.

Заявление в вечернюю школу все-таки было подано. Правда, написал его Николай Егорович, а Аня только расписалась. В первый день занятий он ее проводил до школы. Вернулся домой и весь вечер чувствовал себя тревожно, необычно. Подумал о том, что часто теперь вечерами будет один. Но пожалел не себя, а Аню, которая, наверное, сидит теперь за партой ни жива ни мертва. Николай Егорович судил по себе: он бы тоже волновался, стеснялся, говорун он был плохой. Правда, ему почти сорок, а Анне всего двадцать восьмой, голова еще свежая.

Сготовив по всем правилам ужин, Николай Егорович оделся и пошел встретить жену.

– Жива? – спросил он ее.

– Жива-то жива, – покачала головой Аня. – Устала очень. Это все ты, Коля! Придумал!..

Посещала она занятия с месяц. Отдали соседям билеты на «Каширскую старину»: нужно было писать изложение по «Капитанской дочке». Не ходили в гости: Николай Егорович сел вычерчивать Ане трапеции и параллелограммы. Аня утешалась: другим и вовсе помочь некому. Про червей и моллюсков она кое-что выучила. Но сразил ее немецкий язык.

– Не получится ничего, Коля, – трагически сказала она однажды. – Этой ведьме немке два понедельника жить осталось, а она еще сопит, придирается. Я, конечно, не Валентина Гаганова, но я тоже собой чего-то представляю. Можно и посчитаться.

И добавила жалостно:

– И так голова болит, Коля, ты не поверишь!.. Может, я в положении? Тогда на фиг все трапеции эти!

Николай Егорович был сбит с толку, не разгадал Аниного маневра. В школу Аня больше не пошла, а через некоторое время сообщила:

– Нету ничего, Коля. Прямо как гора с плеч!..

Оставшись при своих шести классах, Аня особенно не унывала. На отношение коллектива ей обижаться не приходилось: она была бессменным членом цехового комитета, потом ее избрали в фабком, потом – делегатом на районную профсоюзную конференцию. Было ей даже предложение подать заявление в партию.

Аня решила, что тут уже надо говорить все начистоту. Сначала она сослалась на невысокую грамотность, а потом, запылав щеками, призналась:

– А еще, знаете ли, у меня отец сидел: овес с фермы выносил...

Ей сказали, что овес – это не помеха, тем более что и отец ее давно умер. Но во второй раз почему-то уже не предлагали. И в Ане разыгралась гордость. Она даже хотела отказаться от общественных поручений. Но Николай Егорович ее в этом не поддержал. Да Аня и сама понимала, как важно ей быть на виду. Не теряла она и надежды получить от фабрики отдельную квартиру, поэтому портить отношения ни с кем не хотела.

– Мальчика-то возьмешь, когда квартира будет? – спрашивали те, кто знал, что у Ани растет в деревне сынишка.

– Была бы квартира! – со вздохом отвечала Аня. – Дождись-ка ее!..

Но Николай Егорович никакой квартиры не хотел ждать.

– Когда за малышом поедем? – все время спрашивал он.

«Малышу» шел уже седьмой год. Бабка обочлась месяцами и с осени записала его в школу. Метрическое свидетельство Юры было в Москве у матери, и бабке поверили на слово, что парню полных семь лет, и приняли его в первый класс. Тем более что Юра был очень большой и очень самостоятельный.

В долгие зимние вечера он, обученный буквам еще в доме Шубкиных, стал сам читать. Книжек в достаточном количестве бабка ему добыть не могла, и он читал журналы «Огонек», «Смену», «Крестьянку».

В школе Юре очень понравилось: он тут оказался первым учеником. Его посадили поближе к доске, и если кто чего-нибудь не знал, он вставал и говорил. И был тщеславием в мать: ответит верно и всех оглядит, улыбаясь. Рыжие волосы, уши, нос у него были шубкинские, розовые щеки – Анины, а зубов вообще никаких не было – менялись.

Аня и Николай Егорович приехали в деревню к Аниному дню, двадцать второго сентября. Шли со станции и увидели Юру. Он шагал из школы, одетый в замызганное пальтишко, из которого давно вырос. В руке у него была авоська с книжками, заменявшая портфель. Шапки на нем не было, и голова рыжела издалека, освещаемая сентябрьским солнышком. Когда он подошел ближе, то мать и отчим заметили, что никуда не годятся и ботинки. Ане при этом показалось, что Николай Егорович, который видел Юру в первый раз, был неприятно удивлен. Взгляд его, обращенный на модницу жену, как бы говорил: «Твой ли ребенок-то, что же это ты?..»

Юра не кинулся к матери. Он остановился, оглядел гостей и сказал с неребячьим спокойствием:

– Здравствуйте. Это вы приехали?

Он уже знал от бабушки, что мать нашла себе «хорошего человека». Но это его пока мало касалось. Он не очень рассчитывал, что его отсюда заберут, и не очень к этому стремился. Все лето он ловил в речке раков, приловчившись хватать их за спинку голыми руками. В плетеной клетке у него жил свиристель, в ящике в сенях – кролик. И была некоторая опасность, что в его отсутствие бабка может свиристеля выпустить, а кролика ободрать.

Юра холодно взял у матери песочное кольцо, обсыпанное орехами. Но тут же съел его и посмотрел на второе. Это второе подвинул ему уже Николай Егорович. Юра посмотрел пристально в его искусственный глаз и стал грызть кольцо.

Потом, не обращая внимания на приехавших, словно это были совсем посторонние люди, Юра положил на стол свой букварь и нарочито громко стал читать, как бы желая показать, какая ерунда для него этот букварь:

- Мама варила кашу. Катя кашу ела...

Его локти, которыми он уперся в стол, были порваны, у ворота не хватало пуговиц. Придя из школы, он снял корявые ботинки и теперь стоял в носках, из которых торчали маленькие грязные пальцы.

- Мама, да что же ты так его водишь? - недовольно заметила Аня. - Рваное все на нем.

- Озорничает много, вот и рваное, - сказала бабка. - А с меня теперь не больно спросишь: я вам не молодая ведь, все свои сроки отработала...

И «баба Нюха» вдруг заплакала, захлюпала. Аня поймала ее взгляд, брошенный на Николая Егоровича. И поняла: мать расстраивается, потому что зять ей не понравился, совсем на другого рассчитывала, на молодого и на красивого. Хотя Аня и постаралась, чтобы Николай Егорович выглядел поинтереснее, но «бабу Нюху» обмануть было трудно: та в свое время знавала красивых мужиков.

Чтобы удержаться, не сказать ненужного, бабка ушла в огород. Там дергала к столу позднее луковое перо и потихоньку горевала. Следом за ней вышла и Аня.

- Мама, ты что это номера выкидываешь?

Николай Егорович тоже понял, что не имел успеха у тещи. И подвинулся к Юре:

- Пятерок много уже получил?

- Много, - тихо сказал Юра. Он присматривался.

- По какому же предмету?

- По всем.

- И пишешь чисто?

- Не очень... Скажите, а почему у вас такой глаз?

Николай Егорович в первый раз улыбнулся.

- На войне мне выбили. У меня только один свой. А этот стеклянный. Точно в цвет не подобралось.

Юра подвинулся к отчиму совсем близко.

- А вы им видите?

- Нет, ничего не вижу. Одним обхожусь.

...А в огороде в это время шел совсем другой, более нервный разговор.

- Не пойму я, чего тебе надо, мама, - уже сердясь, говорила Аня. - Мне с ним хорошо, а тебе какое дело?

Мать мяла в пальцах луковое перо и дрожала губами.

- Ты смотри, как он к ребенку отнесся... Ты еще не знаешь, как другие женщины с мужьями на этой почве мучаются.

С крыльца сошли Николай Егорович и Юра.

- Можно мы минуток на десять гулять пойдем? Вон Юрий мне что-то показать хочет.

Они пошли по деревне, ветер гнал им в спину опавшие кленовые листья. Юра шагал чуть вразвалку, руки кинул за спину, изображая взрослого. Николай Егорович поглядывал на него и соображал, как бы его сегодня подстричь немножко. И если есть возможность, то и отмыть. Зарос парнишка, а ведь ему завтра опять в школу.

Они вышли к сараям, стоявшим на отшибе, посреди сжатого, пустого овсяного поля.

- Что же ты мне показать хотел? - спросил Николай Егорович.

- Да ничего. Пусть они там себе разговаривают. А мы тут с тобой будем.

Николай Егорович помолчал и сказал:

- Хороший ты мальчик.

Они присели на ворошок соломы. Из-под него выбежала мышка-полевка, но Юра не испугался.

- А ты можешь свой глаз снять? - спросил он.

- Могу.

- Тогда ты лучше его не надевай. А завяжи глаз черной повязочкой. Всем будет понятно, что ты инвалид Отечественной войны. А так непонятно.

- Ты думаешь? Ладно, сделаю.

Юра посмотрел очень пристально на Николая Егоровича. И осторожно потрогал не очень чистыми пальцами его попорченную ранением щеку.

- Только я боюсь, что тебе мама не разрешит: с глазом красивее.

Николаю Егоровичу стало не по себе: ведь что-то он думает сейчас, этот рыженький пацаненок!.. Видел их с матерью вдвоем какой-нибудь час, а уже

построил выводы. Но Николаю Егоровичу было радостно, что всего час потребовался, чтобы они с Юрой сошлись.

Над голым полем промахали крыльями отлетающие грачи. Юра сделал движение руками, как будто целился в них. Большой нос его озяб. Он подобрал под солому ноги.

– Сколько уж ты в деревне живешь? – спросил Николай Егорович.

– Давно. Два года.

Николаю Егоровичу Аня далеко не все рассказала относительно Юры. Он и сам родился и вырос в деревне, и ничего необычного в обстановке, которую он застал в доме у тещи, для него не было. Наоборот, ему, проведенному детство в крайней бедности, сразу бросился в глаза хороший достаток, только, пожалуй, порядка не хватало. Но было как-то тяжело, что они с Аней в Москве ходили по театрам, по гостям, а тут дичал этот малый в обществе бабки-нелюдимки. Ну ладно еще летом, туда-сюда побежит, в лес, на речку. А зимой-то как же они?..

– Замерз? – спросил Николай Егорович Юру.

– Нет, я мальчик не зябкий, – сказал тот, желая, видимо, продлить их разговор наедине.

...Дома их ждал стол с ужином.

– Ну что он там тебе интересного показал? – уже поладив с матерью, весело спросила Аня у мужа.

– А это уж у нас с ним мужской секрет, – тоже весело ответил Николай Егорович.

Они пробыли в деревне три дня. Больше Николаю Егоровичу с Юрой погулять наедине не пришлось: стенкой полил дождь, еще похолодало. Бабка топила печь.

Юра пришел из школы и увидел, что мать собирается к отъезду. Он все еще не надеялся, что его возьмут с собой, и отнесся к этому внешне спокойно. Достал из

сумки тетрадку с пятеркой и показал Николаю Егоровичу:

- Еще одну получил.

- Молодец!

Аня сказала не без волнения:

- Видишь, Юрочка, я вам с бабушкой денег оставляю. Мы тебе книжки вышлем и тетрадки. Бабушку не обижай, слушайся. Тогда мы и тебя в Москву возьмем.

- Это когда? - серьезно спросил Юра.

- Скоро... На тот год.

Провожать до станции Юру тоже не взяли. В последнюю минуту он в темных сенях повис на руке у Николая Егоровича, но ничего не сказал, чтобы не услышали мать и бабка.

Аня поручила мужу нести корзинку с яйцами и ведро с солеными грибами. Николай Егорович утратил весь свой франтоватый вид. Но это делали не корзина и ведро; попорченное ранением лицо его было так мрачно, так опустились плечи и виновато выгнулась спина, что казалось - идет по деревне не сорокалетний мужчина, а какой-то невзрачный старичок. К тому же и дождь моросил...

- Да ладно, Коля, - уже в вагоне сказала Аня. - Ты же видишь, что я и сама переживаю. В школу его в Москве в шесть лет не примут, а тут он уже при деле и к маме привык.

Николай Егорович поднял на жену свой единственный глаз и вдруг тихо произнес ругательную фразу. Никогда Аня от него ничего подобного не слышала и поэтому очень испугалась. Ей и непонятно было, кого Николай Егорович, собственно, ругал: ее самое, угрюмую тещу или судьбу...

Аня оправилась от испуга и сказала дрожащим, обиженным голосом:

- Что это ты, Коля, себе позволяешь? Считаешься культурным человеком...

...Юру они взяли из деревни на следующую осень. Бабка плакалась:

- Теперь и съесть ничего не захочешь - одна!..

- Мама, я поперек своему мужу не пойду, - сказала Аня. - Он Юру усыновить хочет.

«Баба Нюха» во всем видела корысть:

- Как не хотеть! Своих-то нету.

Аня по поводу «своих» помалкивала. Пока с нее хватало: есть один сын.

Юре купили новое пальто, и сразу же по прибытии в Москву Николай Егорович повел его в парикмахерскую. Потом они посетили зоопарк и музей Вооруженных сил.

- Я хочу быть военным, - серьезно сказал Юра.

- Почему?

- Как почему? Разве не нужны разведчики? Столько книжек про это!..

Вечерами Юра читал вслух, читал очень бойко, с выражением. Аня прислушивалась немножко испуганно: это в восемь-то неполных лет!.. Что же в двенадцать будет? Этак дурочкой рядом с ним окажешься.

В первую ночь Николай Егорович встал и поглядел, как Юра спит. Для мальчика еще не было одеяла, он лежал под Аниным старым пальто, от которого пахло химчисткой и невыветрившейся ванилью.

«Голова у него не разболелась бы», - подумал Николай Егорович.

Некоторое время он, рискуя отвыкнуть от протеза, не носил своего искусственного глаза и прятал ранение под черной повязкой. Ане не сказал, что это он делает для Юры, а сказал, что самому так легче.

Юра не ластился к отчиму. Но Аня замечала, что смотрели ли телевизор, обедали ли, играли ли в лото, Юра всегда садился рядом с Николаем Егоровичем, а не с нею. Свой школьный дневник он показывал только ему. Обращаясь к отчиму, Юра словом «папа» не злоупотреблял, зато в третьем лице он произносил это слово часто и с радостью:

- Когда папа придет? Мы с папой пойдем!..

Каждую субботу они с Николаем Егоровичем совершали поход в Ямские бани. В квартире была ванная, но все равно они предпочитали баню. Тут Юра, не рискуя показаться подлизой, изо всех сил тер мочалкой узкую спину Николая Егоровича. Тут увидел он впервые все его швы и шрамы и в порыве детской благодарности за подвиги прижался к ним своим намыленным животом. Он помнил, как в деревне раза три в зиму его мыла в корыте бабка, как это его раздражало и как он всячески от этого мытья увивался. А теперь он только и ждал, когда Николай Егорович наберет в шайку воды, даст ему пощупать, не горяча ли, положит его на лавку и одной горстью будет поливать ему на спину, а другой рукой будет мылить и полегоньку тереть. Николай Егорович приучил Юру и париться. Потом он выпивал кружку пива, а Юре покупал лимонаду, и они выходили из бани и всю дорогу до дома веселились: такие они оба были чистые и красные.

Вторым большим удовольствием для них обоих было ходить в гости к тете Стеше, сестре Николая Егоровича.

Стеша была роста очень маленького. Видимо, вся порода у них, у Кушаковых, вышла такая мелкая. И если Николай Егорович ел для мужчины немного, то Стеша вовсе ничего не ела, только много пила чаю. И одежду себе покупала в «Детском мире». Была она женщина почти неграмотная, еле-еле расписывалась и работала уборщицей: убирала несколько подъездов в кооперативном доме у ученых. К этим же ученым ходила убираться по квартирам. Много времени уходило у нее и на поликлиники: постоянно Стеша лечилась, выстаивала в очереди на процедуры.

Аня со своей единственной золовкой как-то не сошлась. Ей казалось, что Николай Егорович слишком уж радеет для своей сестры. Правда, Аня знала, что Стеша Николая Егоровича вырастила, хотя сама была старше его всего на девять лет, ходила с ним на руках побираться в голодные годы. Но все это было давно, а сейчас Ане казалось, что Стеша ее недостаточно высоко оценила, не сказала,

что брату повезло: нашел себе молодую, красивую. К первому посещению их Стешей Аня всего наготовила и ждала похвал. Но Стеша почти ни крошки не съела, только выпила две чашки чаю «с пустом». И весь вечер промолчала. Аня не догадалась, что это от робости. И по уходе золовки позволила себе заметить:

– Немые – и те на пальцах показывают, а эта сидит, как чурка. Нечего и удивляться, что никто замуж не взял.

Посетила и она Стешу. Та не по скупости, а по недостатку фантазии купила какой-то торт. Побоялась, что своей стряпней не угодит.

– Когда покупаете, на дату выпуска надо глядеть, – заметила Аня. – Ему пять суток.

Больше она к Стеше не собралась – не понравилось: тесно, душно, поговорить не о чем. Николай Егорович ходил туда один, потом, когда привезли в Москву Юру, они отправились туда вместе.

Вернувшись домой, Юра сказал матери:

– А у тети Стешы на окошке зеленая травка растет!

По неясной для Ани причине Стеша сразу привязалась к Юре, будто он был какой-то сирота. Чем он ей угодил, Аня так и не узнала. Но, поскольку это все-таки была родная сестра ее мужу, ревновать не приходилось: другая бы вообще брата отговорила чужих детей усыновлять. Но родственных отношений между Аней и Стешей так и не получилось.

В квартире, где жила Стеша, был телефон. Сама она позвонить не решалась, наверное, из-за Ани, да и робела перед телефонным аппаратом. Звонил ей всегда Юра.

– Позовите, пожалуйста, Степаниду Егоровну Кушакову.

Стеша прижимала трубку к уху и шелестящим голосом говорила:

– Але!.. Кушакова слушаить.

Тогда Юра кричал:

- Тетя Стеша, мы с классом идем на «Аленький цветочек»! Тебе надо посмотреть. У нас многие ведут своих родителей.

- Да нет уж, - продолжала шелестеть Стеша. - Куда я?.. Ты с отцом иди.

Уговорить ее не удавалось. Стеша двадцать лет прожила в Москве, а в театре не была. Раз только видела выездной спектакль в клубе.

- Отметков-то плохих нет у тебя, Юра?

- Конечно, нет! Что ты, тетя Стеша!..

Когда Юра с Николаем Егоровичем раз в неделю приходили к ней, Юре разрешалось сидеть, сняв ботинки, с ногами на огромной, пышной постели. Его очень удивляло, почему у такого маленького человечка, как тетя Стеша, такая большая постель. Тем более что, кроме этой постели, в ее комнате уже почти ничего нельзя было поставить.

- Оставались бы ночевать, - говорила им каждый раз Стеша.

Юре очень хотелось остаться, но Николай Егорович торопил его и уводил домой. Стеша шла проводить их до трамвая. Все трое они были почти одинакового роста.

Дома Юра передавал матери привет от тети Стешы.

- Ну как она там? - великодушно осведомлялась Аня.

- У нее давление. Сто пятьдесят на девяносто.

Аня поглядела на своего рыженького сына:

- Все ты знаешь!

А Николай Егорович трепал Юру по волосам: он был ему благодарен за Стешу.

Будь он другим человеком, он бы и не заметил, что чего-то не хватает в отношениях между Аней и ее сыном. Вроде она его и любит. Но любит, как тетка племянника или как теща зятя: рядом – хорошо, а лучше – на расстоянии. Отчасти Николай Егорович мог это понять: ребенок вырос на чужих руках, в стороне и, за исключением некоторых внешних черт, ни повадкой, ни характером не был похож на свою мать. И не то чтобы Юра боялся ее, но он был настороже: вдруг она не поймет и обидит. Что-то похожее Николай Егорович находил и в своих взаимоотношениях с Аней. Может быть, это их с Юрой и сближало. У них даже тайны общие появились. Так, они оба тайком вздыхали об Элине Быстрицкой.

– Ох, глупые!.. – сказала тетя Стеша, когда они открылись ей. – Да на кой же вы ей нужны, Елине-то этой?

С тех пор как взяли Юру, Ане хлопот прибавилось и заметно убавилось в комнате места. На ночь складывали стол, чтобы ему постелить. И если Аня тяготилась главным образом теснотой, то Николая Егоровича подчас раздражало другое: она часто забывала, что сыну уже десятый год, что не все при нем можно говорить, тем более что мальчик понятливый. Он ловил себя на том, что даже если Юра и неправ, то ему хочется принять его сторону.

Раз Юра наклеил на стенку какой-то корабль, вырезанный из журнала.

– Что ты обои-то портишь? – прикрикнула Аня. – Не мог кнопкой приколоть?

– Тут мое место, – хмуро сказал Юра.

– Твое! Твое – у бабки в деревне.

– Чтобы я этого больше не слышал! – вдруг прикрикнул Николай Егорович, в первый раз указав жене, что не она, а он в этой комнате хозяин.

Аня резкость мужу простила: в конце концов, речь шла о ее же собственном сыне. Но размолвки из-за Юры на этом не прекратились.

Как-то Аня принесла с работы три билета в кино.

- Папа говорит, что мне эту картину смотреть не надо, - сказал Юра.

- А куда же я билет дену? Уж очень много твой папа понимает!

Потом Аня шепотком спросила Николая Егоровича:

- Коль, про что картина-то? Там, говорят, про это...

- Именно что «про это», - Николай Егорович покачал головой. - Ведь знала!

Аня виновато вздохнула. Когда Юра уснул, сказала мужу:

- Что же это мы ссориться стали, Коля? Так хорошо жили!..

...Весной пятьдесят девятого года Юра перешел в пятый класс со всеми отличными отметками. На радостях они с Николаем Егоровичем поехали кататься на речном трамвае. Погода не задалась, дождливо. Но они не жалели, что поехали.

- Не раздумал военным-то стать? - спросил Николай Егорович.

- Конечно, нет.

Юра в свои одиннадцать лет ростом почти догнал отчима. Стал крупным, видным, большеголовым малым. И все-таки приходилось следить, чтобы у него и уши и шея были чистые.

- У военных разлуки много, - осторожно сказал Николай Егорович.

- С тобой мы все равно будем видеться. А если меня куда-нибудь забросят, мы придумаем код.

- Ладно, - согласился Николай Егорович. Снял свой плащ и накинул на Юру.

Летом Аня свезла сына в деревню к бабушке. А вернувшись, навела в комнате образцовый порядок.

- Выкину я Юркино барахло, - сказала она мужу, извлекая из-под дивана железки и моточки проволоки. - Приедет, новых натащит.

Но железки Юре уже не понадобились. Как сына инвалида, участника Великой Отечественной войны, кавалера двух орденов - Славы и Красной Звезды - его приняли в Суворовское училище.

Что-то подсказывало Николаю Егоровичу, что так лучше для Юры. Но когда он его туда отвез, то на обратном пути вдруг почувствовал боль в сердце и еще на вокзале зашел в медпункт.

- Не выпили? - сразу спросил врач.

- Нет, - сказал Николай Егорович. - Не пью.

6

Николай Егорович и Аня опять остались вдвоем. Аня немножко потосковала, муж ее стал еще молчаливее. Кончились телефонные переговоры со Стешей: и Юры не было, и Стеша теперь часто лежала по больницам. Как-то раз Аня, чтобы угодить мужу, побежала к ней во Вторую градскую... Стеша почему-то испугалась: если уж Аня пришла, то не конец ли?

А на своем сладком производстве Аня по-прежнему преуспевала. Приносила домой по сто двадцать, по сто сорок рублей, теперь уже в новых деньгах. Всего десятки на две-три меньше мужа. И по-прежнему состояла в общественницах: три года подряд была председателем цехового комитета. Но Николай Егорович хорошо помнил: когда они познакомились и потом поженились, Аня этой работой была очень увлечена и никакое общественное поручение ее не тяготило. Теперь же она приходила с фабрики и начинала с того, что кого-то ругала и жаловалась Николаю Егоровичу, что ее работой задушили, что она воз тянет, что все это последний год и т. д.

- Это верно, что тяжело, когда желания нету, - заметил Николай Егорович.

- Что значит желания нет? Просто уже никакие нервы не выдерживают.

- Отведись.

- «Отведись»!.. Сколько сил отдала! Соплюхи эти, что ли, меня заменить могут?

Николай Егорович взглянул на жену своим одиноким глазом, словно хотел сказать: ну, ты, спасительница отечества!.. Но сказал обычную в этих случаях фразу:

- Незаменимых нет.

В театр они теперь ходили все реже. Во-первых, купили телевизор. Во-вторых, все, что раньше Ане нравилось безоговорочно, теперь уже как-то не волновало. Некоторая слабость осталась у нее по-прежнему к Театру Советской армии, и лучшей актрисой она почитала Людмилу Касаткину.

Жили они с Николаем Егоровичем мирно, никогда между собой не скандалили, не повышали друг на друга голос и для окружающих были очень удобными соседями. Николай Егорович охотно давал займы, а Аня не занимала своими вещами общих углов в коридоре, не развешивала своего белья над чужими кастрюлями. Оба никогда не висели на общем телефоне, разве что Аня по своим профсоюзным делам.

Но за последнее время у нее была только одна неотвязная мысль, вытеснившая все остальное, - отдельная квартира. И в связи с этим снова ожил интерес к общественной работе.

- Я такой воз везу, да если они мне не дадут!..

За короткий срок Аня организовала два культпохода: один - в цирк, другой - в оперетту, выхлопотала у дирекции автобус для экскурсии в Домик в Клину, собрала трем пенсионеркам на подарки и помогла библиотекарьше-передвижнице провести в женском общежитии встречу с известной поэтессой.

- Девочки, - еще накануне очень волновалась Аня, - я вас прошу: отложите вы все ваши свиданки. Приедет пожилой человек, стихи про любовь пишет.

Послушаете, может быть, и для себя какой-то вывод извлечете.

Встреча в общежитии прошла очень хорошо. Слушали внимательно, потом одарили поэтессу цветами и отвезли домой на фабричной машине. Аня добросовестно отсидела весь вечер, хоть и устала, под конец с трудом одолевала зевоту: встала-то чуть свет.

– Приезжайте к нам еще, пожалуйста, – сказала она, провожая поэтессу, – мы очень поэзию любим.

Дома она пожаловалась Николаю Егоровичу:

– Не умеет все-таки, Коля, наша молодежь себя держать. Выскочили в чем были – в халатах, в бигудях... Хорошо, что я сама в дверях встала, не пустила, пока не оделись как люди.

Николай Егорович поинтересовался, что за поэтесса у них была.

– Я фамилию не запомнила, – честно призналась Аня. – Интересная еще женщина. В черном джерси.

– Ты что же, на показе моделей была? Ведь стихи же слушала.

Аня даже немножко обиделась.

– Ну, знаешь, Коля!.. Не тем у меня сейчас голова занята.

А в голове была квартира. Но квартиру дали не Ане, а Николаю Егоровичу. Для нее это было почти неожиданно: она как-то упустила из виду, что у мужа военные заслуги, что у него нет глаза и что он на своем производстве человек очень нужный и знатный. Если бы он сам об этом ей говорил, она бы уже давно вознегодовала: как это – не считаются с инвалидами войны, не ценят самоотверженного труда!

– Коля!.. – сказала Аня, закрыв свои голубые глаза. – Вот теперь мы проживем как люди!

Поставь он ей тут условие, чтобы был наконец ребенок, возможно, на радостях она бы и согласилась. И был бы у него еще сын. Но он смолчал. Ане шел тридцать девятый год. Она столько здоровья и нервов растратила на то, чтобы этих детей не было! Так неужели же рожать в сорок лет?

...Квартиру они получили на Бутырском хуторе, недалеко от завода, где работал Николай Егорович. Аня сбыла светлый рижский гарнитур, купленный восемь лет назад, и купила темную «Ютту». Телевизор «Рекорд» в светлой отделке в эту «Ютту» не вписывался, его отдали тете Стеше, а купили темный «Рубин» на ножках.

Сидя около экрана 50 сантиметров на 38, Аня вновь испытала все живые радости и смотрела все передачи подряд. И если спектакль или фильм ей нравился, то она это относилась опять же на счет размера нового экрана и четкости изображения.

Хлопоты, связанные с переездом на новую квартиру, совсем подорвали Анин интерес к общественным делам: своих дел невпроворот, перевезти все, обставить. Один только пол циклевали и покрывали лаком целую неделю, обои на свой вкус переклеивали. С другой стороны, Аня все-таки чувствовала себя обиженной: почти пятнадцать лет она не жалела своего времени для других, а если бы не муж, то и сейчас сидела бы в коммунальной квартире.

– Кончать эту беготню надо, Коля, – как-то заявила она Николаю Егоровичу. – Хорошенького помаленьку им. Если все часы вместе скласть, какие я для людей потратила, можно два института закончить.

Николай Егорович удивленно посмотрел на нее: что это она вспомнила об образовании, без которого прекрасно обходилась? Но он ничего не сказал, только повел плечами.

Надо было знать ее Колю, чтобы понять: молчит-то он молчит, но видит ее насквозь. Знает, как она любит быть на виду, любит, чтобы люди от нее хоть в чем-то зависели, чтобы шли с просьбами, услуживали и даже заискивали. Аня долго помнила, как Николай Егорович рассердился, когда в благодарность за выхлопотанную ею путевку в Ессентуки помогли Ане достать банлоновый костюм, а в другой раз – ковер без открытки.

– Тебе скоро, как городничему, носить начнут, – сказал он и долго не хотел заколачивать пробки в панельную стенку, чтобы повесить этот ковер.

– Коля, да ты, ей-богу, как ребенок! – обиделась Аня. – Люди же видят, что я со своим временем не считаюсь. Ну отблагодарили за внимание. Самому же тебе лучше, чем спиной по голой стенке шаркать.

Ковер в конце концов был повешен. Николай Егорович знал, что далеко не всегда Аня действует из голой корысти. Кроме болезней, путевок, походов по театрам и музеям она охотно улаживала семейные ссоры, занималась сватовством, молодым и пожилым была подругой и приятельницей. Но совершенно счастлива она бывала лишь тогда, когда за все хлопоты и усилия ее осыпали словами благодарности.

Эти слова стали ей нужны как воздух. Аня думала, что со стороны это и не заметно. Но однажды получила урок.

Одна из пожилых карамельщиц, когда ей было фабричным комитетом в чем-то отказано (и не по Аниной вине), сказала:

– Разве ты для меня сделаешь? Я ведь тебе не подружка, и отблагодарить мне тебя нечем.

Аня возмутилась, а потом испугалась: значит, что-то стало известно?! И тревожно покосилась на Лиду Дядькину, которая тоже была членом цехового комитета и присутствовала при этом неприятном разговоре.

Но Лида просительницу не поддержала:

– Ульяна Петровна! Разве можно так безответственно!..

Ульяна сразу пошла на попятный, как будто застеснялась Лиды:

– Чего с меня взять, я ведь малограмотная...

«Малограмотная!.. – горько подумала Аня. – Зарплату получишь, небось сосчитать сумеешь!..»

И оставшись с Лидой один на один, спросила:

- Ну ты скажи, Лида, за что?..

Всегда веселая Лида сидела, сжав губы.

- Аня, ну что я тебе буду говорить? Ты сама все прекрасно понимаешь.

Когда-то у них с Лидой Дядькиной была большая дружба. Как-никак, а ведь это она познакомила Аню с Николаем Егоровичем. Потом у Ани ничего с вечерней школой не вышло, а Лида без особых охов и стонов одолела восьмой, девятый, десятый и вышла замуж за своего одноклассника, белоруса Петю Луковца. Аня с Николаем Егоровичем ходили тогда к Лиде в гости - обмывать сразу два аттестата зрелости. Хозяйке предстояло родить, но она порхала бабочкой. Ждала уже второго, а первый мальчик только еще ползал по полу.

- Что это ты, мать, ясли на дому устраиваешь? - шутя спросила Аня. - Сверх плана выдавать начинаешь.

- Нам можно, - весело отозвалась Лида, - качать есть кому: у Луковца моего день ненормированный, да еще свекровь в запасе.

Потом призналась Ане:

- Уж я все рассчитала: в марте - в роддом, до сентября кормлю, а там - бабке в лапы. И полный вперед, на заочное!

...Теперь Лида была уже на четвертом курсе пищевого института. А самый младший, уже третий по счету, Луковец не давал ей по ночам спать и отмотал все руки.

- Это не ребенок, а империалист какой-то! - говорила Лида.

Профсоюзной работой ее Аня старалась не загружать особенно: где уж с тремя грызунами, да еще заочнице! Но Лида как будто была двужильная. И то ли характер у нее был полегче, то ли пограмотнее она была, чем Аня, то ли память

у нее на обещания была покрепче, но Аня стала замечать, что чаще всего со всякими просьбами и предложениями бегут прямо к Лиде, а не к ней. Особенно молодежь.

- Лида, как бы на выставку графики? Поговори, пожалуйста.

- Лидочек, у Нинельки свадьба. Надо нам организовать.

- Лида, а как насчет турлагеря? Ты узнай, пожалуйста, у Доброхотовой.

А что касается сугубо личных просьб, то с ними и вовсе шли к Лиде, словно бы Аню стеснялись. С одной стороны, Ане казалось нормальным, что со всякими пустяками не лезут сразу к ней, как к равной, как к подружке. С другой стороны, было все это и как-то тревожно: уж не утратила ли симпатий и доверия?

- Что это ты за посланник такой? - заметила она раз Лиде. - Пусть сами подойдут, если нужно.

Лида Дядькина «наглела» на глазах.

- Аня, будем говорить честно: не обязательно ждать, пока подойдут, можно и самой поинтересоваться. Люди все разные: есть такие, что и стесняются.

«Тебя что-то не стесняются! - подумала Аня. - Это мне не с Ульянами Петровнами ухо остро держать надо, а с тобой, милка моя!»

И сказала как можно великодушнее:

- Господи, а чего ж стесняться? Не они для нас, а мы для них.

Перед выборами фабричного комитета Аня сильно поволновалась. Следуя Лидиному совету, сама подходила к людям, интересовалась. Когда одну работницу положили в загородную больницу, Аня собралась и поехала, хотя ехать нужно было тремя автобусами и погода была совсем дрянная. На свои личные деньги купила апельсинов и букетик подснежников.

– Анна Александровна, солнышко! – благодарила больная. – Спасибо вам всем, не забываете меня. Вот и Лидочка уже три раза была.

Казалось бы, Аня могла только радоваться, что ее помощники без всякой указки, не в порядке поручения, съездили, навестили больного человека. Но она возвращалась из больницы с тяжелым чувством. Опять эта Лидка!.. Знала бы, так можно было самой и не ездить. И Аня поймала себя на мысли, что не только все эти люди с их болезнями, заявлениями, запросами давно ей не нужны, но, что самое главное, и она-то сама им давно не нужна. Уйди она в сторону, разве жизнь остановится? Цех будет работать, карамели выпустят, сколько надо. А захотят выставку графики посмотреть, так та же Лидка их сводит.

На перевыборах Аня отчиталась в проделанной цеховым комитетом работе и попросила ее освободить. В душе была у нее некоторая надежда, что самоотвод ее принят не будет и что попросят ее и дальше поработать. В заключение своей просьбы она добавила со свойственной ей игривостью:

– А то, знаете, на меня уж муж мой обижаться стал. Ревнует, поскольку я совсем дома не живу.

Она знала, что никто ее слов Николаю Егоровичу не передаст. И ей было приятно, что присутствующие на собрании мужчины посмотрели на нее с особым значением.

Но Анины тайные надежды не оправдались: самоотвод был принят. Правда, в протоколе записали, что возглавляемый ею цеховой комитет работал хорошо, люди не считались со временем, обеспечили борьбу за качество продукции, за культуру труда, провели большую культурно-массовую работу и т. д. Но было записано, что именно люди, а не персонально она, Анна Александровна Доброхотова.

– Отдохнешь, Аня, – сказал ей кто-то из бывших подружек, желая поддержать: заметили, как она повяла.

– Неужели нет! – с вызовом воскликнула Аня. – Конечно, отдохну.

И подумала: «Чего я психую? Ведь сама же этого хотела».

Успокоить себя ей не удалось. Домой она вернулась взволнованная, с красными пятнами на щеках.

– Ты представляешь, Коля, кто на мое место метит? Соседушка наша бывшая, Лидка Дядькина. Знаешь, какую карьеру баба делает!..

И Аня стала рассказывать мужу, что Лиду посылают от фабрики на «Голубой огонек», какому-то ансамблю торт преподносить.

– Вчера репетиция была. Шла с этим тортом, так небось ног под собой не чувствовала!

Николай Егорович благодаря жене был в курсе дел Лиды Дядькиной. Знал, что семейство все прибавляется, что муж Лидии Луковец хоть и любит детей, но уже обалдел от них. Что со свекровью у Лиды контакта не получилось, а сдать всех ребят на пятидневку ни у Лиды, ни у ее мужа духу не хватало.

– Не понимаю, Коля, ради чего она на себя этот хомут надела, – сказала Аня. – Требования сейчас к профсоюзной работе поднялись, только успевай поворачивайся. А квартиру им и так после третьего ребенка дали. Зуд, что ли, у ней такой – на людях-то вертеться?

– Зато ты отзудилась, – сказал Николай Егорович. – Теперь, может, соберешься, Юре письмо напишешь.

Двадцатилетний Юра уже учился в одном из ленинградских высших военных училищ. Два раза в году приезжал к родителям. А Николай Егорович по субботам ходил на междугородную, заказывал разговор на пять минут.

– Ты знаешь, Коля, как я не люблю писать, – созналась Аня. – Теперь мы вполне к нему и съездить можем.

Она словно бы ссылалась на то, что раньше при ее загруженности о родном сыне подумать некогда было. Николай Егорович все ее маневры угадывал, но сейчас он видел, что жена все-таки расстроена, что, может быть, это первые в ее профсоюзной карьере настоящие тяжелые минуты, и ничего больше ей говорить не стал. Налил ей чаю.

Казалось бы, в результате он сам только выиграл: Аня, свободная от общественных хлопот, теперь все внимание перенесла на него самого. Но они вдруг поменялись местами: теперь позже стал приходить домой Николай Егорович. Аня была удивлена и обижена, потребовала объяснений.

– Ребятам помочь нужно было. Молодые совсем, только из профтехучилища.

– Понятно! – заключила Аня. – Это ты за квартиру стараешься. Брось, Коленька, производство тебе и так обязано.

Николай Егорович, чтобы таких замечаний избежать, старался задерживаться не слишком часто, особенно по субботам, когда у Ани была стирка. Мужа она уже давно не пускала ходить по баням. Да одному, без Юры, ему это и не доставляло большого удовольствия. Хотя Николаю Егоровичу было непонятно Анино отвращение к баням и прачечным, но он охотно помогал ей возиться со стиральной машиной и развешивать белье на лоджии.

– Только трико свои не вешай на самый вид, – просил он.

– Интересно!.. Да ведь они чистые.

Николай Егорович усмехнулся.

– Ты вот фильмы разные смотришь – разве там вешают?

Один только раз Аня поступилась субботней стиркой: по телевизору показывали «Свадьбу в Малиновке». Они уже видели эту «Свадьбу», поэтому Николай Егорович к телевизору не сел, а поместился где-то сбоку от Ани с газеткой. В разгар событий на экране он поднял голову, но посмотрел не в телевизор, из которого неслись веселые бабьи визги, а на Аню. Она сидела раскрасневшаяся, в халате из яркого жатого ситца, с голыми руками. С розовой ноги ее свалилась тапочка. На лице у нее была написана такая радость сопричастности к событиям в Малиновке, что Николай Егорович не смог сдержать усмешки. Он отложил газету и тоже стал смотреть, стараясь понять, что же все-таки так радует жену. Но так и не понял.

После картины Аня поставила чайник и накрыла вечерний чай. Она сама пила его всегда почти пустой: конфеты и печенье давно приелись ей в цехе. В крайнем случае пила с сахаром и оставляла себе к чаю кусок селедки, чтобы лучше пилося.

...Теперь, в отдельной квартире, им было так спокойно!.. За стенами не раздавалось никакого шума, разве что лифт прошипит на лестнице. Не обязательно было мыть с вечера посуду, можно оставить на утро – кухня своя. Можно полураздетой, а то и совсем раздетой выйти в коридор. Аня очень удивлялась своему Коле, который всеми этими возможностями не пользовался. Но она не была неблагодарной: она помнила, что радостями отдельной квартиры обязана Николаю Егоровичу. И первые полгода в этой квартире у нее с мужем был опять медовый месяц, за который она расплатилась трудным абортom. Но, оправившись после него, снова расцвела.

...Кто бы посмел сказать, что она своего мужа не любила! Но Аня начала как-то тяготиться собственной верностью мужу, который, как ей казалось, этого в должной мере не ценил: ни разу ее не приревновал, ни разу не допросил, где она была, что делала. А ведь она, между прочим, не в диком поле скотину пасла, а среди людей работала, где есть на кого поглядеть, с кем провести время. Словом, на Аню надвигался «бабий век», и она стремилась взять от жизни свое. Может быть, времени свободного стало побольше, голова разгрузилась?..

Она не могла пожаловаться на холодность мужа. Но Николай Егорович никогда не был особенно активен, как будто боялся навязываться. В последнее же время он взял привычку задерживаться с «пацанами» из профтехучилища, приходил усталый и словно бы не замечал жены.

В общем, получилось так, что Аня два раза изменила своему Николаю Егоровичу.

Она давно уже заметила, что к ней равнодушен технолог из их цеха, человек не очень молодой и семейный. Но ведь и она была не барышня. Как-то согласилась посидеть с ним в кафе «Гвоздичка». Потратился он всего на четыре рубля восемьдесят копеек, но уже как-то обязал. Потом пригласил в «Софию». Аня там наелась жареной баранины, у нее ныла печень, но Николаю Егоровичу она пожаловалась на сердце и даже послала в аптеку взять валерьянки.

Первая измена произошла в день Восьмого марта. На фабрике устроили вечер в складчину, и за Аню пятирублевый пай внес технолог. После вечеринки он поймал такси и привез Аню в один из кривых переулков на Переяславке. Они ошупью спустились по темной лестнице в полуподвальное помещение. Анин кавалер открыл ключом какую-то холодную дверь, и она очутилась на горбатом, шершавом, тоже очень холодном диване. Оказалось, что здесь была контора ЖЭКа, где технолог работал по совместительству. Тут недавно делали ремонт, и Аня все пальто уваляла в побелке.

- Что же, лучше места не придумали? - в сердцах сказала она технологу и подумала: «Десятки две потратил, так уж думает, что можно как последнюю!..»

И потом она не столько переживала измену мужу, сколько ей страшно было вспомнить диван, на котором она лежала. Она и с технологом перестала здороваться после этого. И сердилась на Николая Егоровича, который в тот вечер не пошел с ней вместе на праздник и тем самым не оградил ее от всяких ухаживаний.

В другой раз вышло вовсе нелепо! Умирала в больнице Стеша. Около нее сидели Николай Егорович и приехавший на несколько дней из Ленинграда Юра. А Ане во что бы то ни стало нужно было забрать по открытке из магазина холодильник «Ока». Она привезла его домой на такси, и шофер, молодой молчаливый парень, помог ей этот холодильник внести. Он не сразу ушел, топтался в коридорчике, и Аня решила попросить его сдвинуть кухонный шкаф, чтобы холодильнику было место. И когда они оба оказались затиснутыми в угол, то даже трудно было понять, кто кого первый обнял.

Когда Аня закрыла за этим таксистом дверь, то с опозданием испугалась. Во-первых, жильцы из соседней квартиры могли заметить, что он долго у нее был. Во-вторых, парень этот мог быть и больным. А в-третьих, ей показалось, что он шарил глазами по обстановке. Потом обчистят, и следов не найдешь. Но вскоре Аня успокоилась, вымылась в ванне и стала ждать из больницы мужа и сына.

А те сидели в сквере недалеко от больницы. Николай Егорович плакал, и ни он сам, ни Юра не хотели, чтобы Аня это видела. Стеша скончалась час назад.

Была середина апреля, в сквере еще лежали островки снега. На Юре была плотная шинель, а на Николае Егоровиче второпях надетый старенький плащ и

холодная кепка на голове.

- Пойдем, папа. Ты ведь замерз.

- Сейчас пойдем. Погоди, Юра...

Так они и сидели: один пожилой, маленький, какой-то убитый, другой совсем молодой, высокий, крупнолицый. А думали оба об одном – о покойной Стеше. Юра вспоминал о том, как, попав в Суворовское училище, он первое время очень тосковал и хотел убежать. Но не домой, а к тете Стеше: она бы его приютила, а мать, конечно, послала бы обратно.

А Николай Егорович вспоминал, как пришел сразу после женитьбы на Ане к своей сестре. Сказал, что ему теперь хорошо. А она на это сказала:

- Дай Бог, чтобы на подольше!..

Значит, не надеялась, что это навсегда. Хотела только, чтобы ему подольше хорошо было.

Перед смертью Стеша два дня ничего не говорила, никого не узнавала, но незадолго до конца вдруг сказала Николаю Егоровичу и Юре:

- Оставались бы ночевать...

Наверное, ей показалось, что она опять у себя дома, на своей огромной постели, и что Юра еще маленький...

- Давай я такси поищу, - предложил Юра отчиму. - Ты устал очень.

- Ничего. Дойдем с тобой потихоньку.

После Стешинной кончины близких родных у Николая Егоровича не осталось. Конечно, он понимал, что, случись что, за его спиной целый коллектив товарищей, весь завод, на котором он проработал с самой войны. Но он не хотел перед собой лицемерить: важно было, чтобы свой человек пришел в последний час. И его утешало, что такой свой у него есть – двенадцать лет назад

усыновленный им рыженький мальчишка, Юрка.

- Ну, пойдём. Темнеть стало.

Аня открыла им дверь и спросила тревожно:

- Что это вы так поздно?

Николай Егорович молчал. Юра сдержанно рассказал матери кое-какие подробности Стешиной смерти.

Аня попробовала всплакнуть, но это у нее получилось недостаточно искренне. И Николай Егорович оборвал ее:

- Хватит!..

Аня вздрогнула и замолчала. Это было нелепо, но ей показалось, что муж догадывается о ее сегодняшнем приключении с таксистом, что обязательно на ней остался какой-нибудь предательский след, который или муж, или сын заметили. Но Николай Егорович на нее и не глядел, а Юра если и встречался глазами, то больше из вежливости.

- Я, папа, на поминки остаться не могу, - сказал он. - С кладбища - прямо на вокзал. Надеюсь, мама тебе поможет.

- Чего помогать! - отрывисто кинул Николай Егорович. - Там жильцы в доме все хотят сделать...

И он задергал губами. Юра принес стакан воды и погладил отчиму руку. Аня сидела никому не нужная, оскорбленная. Она как раз и рассчитывала, что хлопотами на похоронах и поминках загладит свое невнимание к покойной золовке.

Похоронив сестру и проводив в Ленинград Юру, Николай Егорович ходил молчаливый и горький, ему было не до того, чтобы разгадывать тайны жены. И Аня, когда страхи заболеть или снова оказаться в положении кончились, только улыбалась сама себе: что поделаешь, когда она всем молодым мужчинам

внушает любовь? Ей и думать не хотелось, что и технолог, и таксист просто воспользовались моментом. Таксист, правда, пытался встречу повторить: Аня увидела его с лоджии. Но Николай Егорович как раз был дома, и Аня сделала таксисту знак, чтобы убирался.

«Господи!.. – сказала она сама себе в минуту легкого раскаяния. – Я ведь не за деньги. Другие женщины на целый месяц на юг специально для этого ездят...»

Потом ее начало раздражать, что Николай Егорович все никак не придет в себя после Стешиных похорон и поминок. И не рассчитав сроков, дней через десять после золовкиной смерти Аня, без чувства меры накрашившись и сделав волосы еще рыжей, чем они до этого были, попробовала показать своему Коле, как она его любит. Руки ее, которыми она обхватила его за шею, как всегда, пахли ванилью и ликером, но теперь этот запах почему-то показался Николаю Егоровичу противным.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Мост – сени в срубе (диалект., яросл.).

Купить: https://tellnovel.com/ru/velembovskaya_irina/sladkaya-zhenschina

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)